

Ульрих Бек

ОБЩЕСТВО РИСКА: НА ПУТИ К ДРУГОМУ МОДЕРНУ

Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну / Пер. с нем. В. Седельника, Н. Федоровой. - М.: Прогресс-Традиция, 2000. - 383 с. - Пер. изд.: Beck U. Risikogesellschaft. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986.

СОДЕРЖАНИЕ

НА ПУТИ К ДРУГОЙ МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО МИРА. ПО ПОВОДУ ЭТОЙ КНИГИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. НА ВУЛКАНЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ: КОНТУРЫ ОБЩЕСТВА РИСКА

Глава 1. О логике распределения богатства и распределения рисков

Глава II. Политическая теория знания и общество риска

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Индивидуализация социального неравенства. К вопросу о детрадиционализации индустриально-общественных форм

Глава III. По ту сторону классов и слоев

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ

Ульрих Бек

Общество риска

На пути к другой модели современного мира
По поводу этой книги

Нельзя сказать, что наше столетие обойдено историческими катастрофами: две мировые войны, Аушвиц, Нагасаки, затем Харисбург и Бхопал, теперь вот Чернобыль. Это вынуждает к осторожности в выборе лексики и к обостренному восприятию особенностей исторического развития. Все страдания, все беды и насилия, которые люди причиняли друг другу, обрушивались до сих пор на «других» – евреев, черных, женщин, политических иммигрантов, диссидентов, коммунистов и т.д. С одной стороны, существовали заграждения, лагеря, городские кварталы, военные блоки, с другой – собственные четыре стены – реальные или символические границы, за которыми могли укрыться те, кого, казалось бы, не коснулась беда. Все это есть по-прежнему – и всего этого после Чернобыля уже нет. Чернобыль – это *конец «других»*, конец всех наших строго культивировавшихся возможностей дистанцирования друг от друга, ставший очевидным после радиоактивного заражения. *От бедности можно защититься границами, от опасностей атомного века – нельзя.* В этом их своеобразная культурная и политическая сила. Эта сила – в угрозе опасности, которая не признает охранных зон и дифференциаций современного мира.

Эта не признающая границ динамика опасности не зависит от степени заражения и споров о его последствиях. Напротив, любые измерения говорят об опасности для всех. Признание опасности атомного заражения равносильно признанию *безысходности* для целых регионов, стран и частей света. Продолжение жизни и признание опасности вступают в противоречие друг с другом. Это роковое обстоятельство придает экзистенциальную остроту спорам о результатах измерений и предельных величинах, о краткосрочных и долгосрочных последствиях. Надо просто задать себе вопрос: что могло бы измениться, если бы дело дошло до признания официальными инстанциями *крайне опасного* уровня заражения воздуха, воды, животных и людей? Что тогда – официальная остановка или ограничение жизненных функций – дыхания, еды, питья? Что произойдет с населением целой части света, которое в разной степени (в зависимости от «фатальных» переменных величин – ветра и погоды, расстояния от места катастрофы и т.д.) окажется в зоне необратимого заражения? Можно ли держать в карантине целые страны и группы стран? Не начнется ли в них хаотическое брожение? Или же все в конечном счете произойдет так, как это было после Чернобыля? Уже эти вопросы проясняют характер объективной угрозы, соединяющей в себе диагноз с пониманием неотвратимости происходящего.

Чтобы снять ограничения, обусловленные происхождением, и предоставить человеку возможность самому принимать решения и своим трудом обеспечить себе место в общественной структуре, в развитом модерне возникает новая *«аскриптивная» разновидность чреватой грозными опасностями судьбы*, от которой не уйти при всем старании. Она больше напоминает судьбу сословий в средневековье, чем классовые ситуации XIX века. Во всяком случае, она уже не признает сословного неравенства (как не признает пограничных групп, различий между городом и деревней, национальной или этнической принадлежности и т.д.). В отличие от сословных и классовых ситуаций она складывается не под знаком *бедности*, а под знаком *страха* и является не «традиционным реликтом», а *продуктом* модерна на *высшей* ступени его развития. Атомные электростанции – вершинные достижения производительных и творческих сил человека – после Чернобыля тоже стали знаками *угрожающего нам*

современного средневековья. Они несут в себе угрозы, которые превращают доведенный в современном мире до крайности индивидуализм в его экстремальную противоположность.

Еще живы рефлексы другого столетия: как мне оберечь *себя* и своих близких? Еще пользуются высоким спросом советы по охране частной жизни, которой больше не существует. Но все уже живут в состоянии антропологического шока от пережитой грозной зависимости цивилизационных форм жизни от «*природы*» – зависимости, которая аннулировала все наши понятия о «гражданской зрелости», «собственной жизни», национальности, пространстве и времени. Далеко отсюда, в западной части Советского Союза, но отныне в непосредственной близости от нас, происходит *катастрофа* – не преднамеренная, не агрессивная, скорее событие, которого можно было избежать, но в то же время и нормальное в своей исключительности, более того, по-человечески понятное. Причина катастрофы не в ошибке людей, а в системах, которые превращают вполне объяснимую человеческую ошибку в непостижимую разрушительную силу. В оценке опасности все оказываются заложниками измерительных приборов, теорий и прежде всего *незнания* – включая незнание экспертов, которые совсем недавно провозглашали, в соответствии с теорией вероятности, безопасность реакторов на протяжении десяти тысяч лет, а сегодня с захватывающей дух новой уверенностью твердят об отсутствии *серьезной* опасности.

При всем том бросается в глаза своеобразный *состав смеси природы и общества*, благодаря которой опасность преодолевает все, что оказывает ей сопротивление. Это в первую очередь «атомное облако» – та мощная цивилизационная сила, превратившаяся в силу природную, в которой парадоксальным и сверхмощным образом соединились история и погода. Весь опутанный электронными сетями мир заморожено следит за этим облаком. «Последняя надежда» на благоприятное направление ветра (бедные шведы!) лучше всяких слов говорит о масштабах беспомощности высокоцивилизованного мира, придумавшего колючую проволоку и стены, армию и полицию, но не сумевшего защитить свои границы. «Неблагоприятная» перемена ветра, да еще – о горе! – дождь – и становится очевидной тщетность попыток защитить общество от зараженной природы, ограничить атомную опасность «другой», «чужой» окружающей средой.

Этот опыт, о который в мгновение ока разбился наш прежний образ жизни, отражает ситуацию, когда мировая индустриальная система отдана во власть индустриально интегрированной и зараженной «природы». Противопоставление природы и общества – конструкт XIX века, служивший двойной цели – покорению природы и ее игнорированию. К концу XX века природа оказалась покоренной и до предела использованной, превратившейся из внешнего феномена во *внутренний*, из существовавшего до нас в *воспроизведенный*. В ходе технико-индустриальной переделки природы и ее широкого подключения к рыночным отношениям она оказалась интегрированной в индустриальную систему. В то же время она стала неизбежной предпосылкой образа жизни в индустриальной системе. Зависимость от потребления и рынка означает новую форму зависимости от «природы», и эта *имманентная* «природная» зависимость от рыночной системы становится в этой системе законом жизни индустриальной цивилизации.

Борясь с угрозами внешней природы, мы научились строить хижины и накапливать знания. Против индустриальных угроз вовлеченной в индустриальную систему вторичной природы мы практически беззащитны. Угрозы превращаются в безбилетных пассажиров нормального потребления. Они путешествуют с ветром и по воде, скрываются везде и всюду и вместе с жизненно необходимыми вещами – воздухом, пищей, одеждой, домашней обстановкой – минуют обычно строго охраняемые защитные зоны модерна. Там, где после катастрофы защитные и предохранительные меры практически исключаются, остается только одна (кажущаяся)

активность – *отрицание* опасности, успокаивание, которое порождает страх и вместе с возрастанием опасности, обрекающей людей на пассивность, становится все агрессивнее. Ввиду невозможности вообразить и воспринять опасность органами чувств эта остаточная активность перед лицом реально существующего остаточного риска обретает своих чрезвычайно деятельных сообщников.

Оборотной стороной обобществленной природы является обобществление разрушения природы, его превращение в социальные, экономические и политические системы угроз высокоиндустриализованного мирового сообщества. В глобальности заражения и опутавших весь мир цепей распространения продуктов питания и товаров угроза жизни в индустриальной культуре переживает *опасные общественные метаморфозы*: повседневные нормы жизни ставятся с ног на голову. Рушатся рынки. В условиях изобилия царит дефицит. Возникают массовые претензии. Правовые системы не справляются с фактами. Самые животрепещущие вопросы наталкиваются на недоуменное пожимание плечами. Медицинское обслуживание оказывается несостоятельным. Рушатся научные системы рационализации. Шатаются правительства. Избиратели отказывают им в доверии. И все это при том, что грозящая людям опасность не имеет ничего общего с их действиями, наносимый им ущерб – с их трудом, а окружающая действительность в нашем восприятии остается *неизменной*. Это означает конец XIX века, конец *классического* индустриального общества с его представлениями о национально-государственном суверенитете, автоматизме прогресса, делении на классы, принципе успеха, о природе, реальной действительности, научном познании и т.д.

В значительной мере именно поэтому разговоры об (индустриальном) обществе риска, еще год назад сталкивавшиеся с упорным внутренним и внешним сопротивлением, получили горький привкус истины. Многие из того, что мне приходилось доказывать в своих работах с помощью аргументов, – невозможность воспринимать опасность органами чувств, ее зависимость от науки, ее наднациональность, «экологическое отчуждение», превращение нормы в абсурд и т.д., – после Чернобыля читается как банальное описание реальных событий.

Ах, если бы все это так и осталось заклинанием будущего, приходу которого следует помешать!

Бамберг, май 1986

Ульрих Бек

ПРЕДИСЛОВИЕ

Тема этой книги – невзрачная приставка «пост». Она – ключевое слово нашего времени. Все теперь – «пост». К *«постиндустриализму»* мы уже успели привыкнуть. С ним мы связываем определенное содержание. С «постмодернизмом» все уже начинает расплываться. В понятийных сумерках *пост*просвещения все кошки кажутся серыми. «Пост» – кодовое слово для выражения растерянности, запутавшейся в модных веяниях. Оно указывает на нечто такое сверх привычного, чего оно не может назвать, и пребывает в содержании, которое оно называет *и* отрицает, оставаясь в плену знакомых явлений. Прошлое плюс «пост» – вот основной рецепт, который мы в своей многословной и озадаченной непонятливости противопоставляем действительности, распадающейся на наших глазах.

Эта книга представляет собой попытку выяснить, что означает словечко «пост» (синонимы «после», «поздний», «потусторонний»). Она движима желанием осмыслить то содержание, которое историческое развитие модерна – особенно в Федеративной Республике Германии – вкладывало в это словечко в прошедшие два-три десятилетия. Этого можно достичь только в упорной борьбе со старыми, благодаря приставке «пост» выходящими за свои пределы теориями и привычным образом мыслей. Поскольку эти теории и привычки гнездятся не только в других, но и во мне самом, в книге слышится иногда шум борьбы, громкость которого зависит еще и от того, что я вынужден опровергать свои собственные возражения. Поэтому кое-что может показаться излишне резким, чересчур ироничным или опрометчивым. Однако тяжеловесность старого мышления не одолеть оружием привычной академической взвешенности.

Мои рассуждения не являются репрезентативными, как того требуют правила академического исследования социальных проблем. Они преследуют другую цель: *вопреки* еще господствующему прошлому показать уже *наметившееся будущее*. Изложены они с точки зрения наблюдателя общественно-исторической сцены начала XIX столетия, который за фасадом уходящей аграрно-феодальной эпохи высматривает уже повсюду выступающие контуры незнакомого пока индустриального века. В эпохи структурных перемен репрезентативность заключает союз с прошлым и мешает увидеть вершины будущего, которые со всех сторон вдаются в горизонт настоящего. В этом отношении книга содержит элементы *эмпирически ориентированной, устремленной в будущее общественной теории* – без какого бы то ни было методологического обеспечения.

В основе книги лежит предположение, что мы являемся свидетелями – субъектом и объектом – разлома *внутри* модерна, отделяющегося от контуров классического индустриального общества и обретающего новые очертания – очертания (индустриального) «общества риска». Для этого необходимо сбалансировать противоречия между непрерывностью развития модерна и разрывами в этом развитии – противо-

речия, в которых отражается антагонизм между модерном и индустриальным обществом, между индустриальным обществом и обществом риска. Я намерен показать в своей книге, что эти эпохальные различия порождаются сегодня самой действительностью. Чтобы знать, как дифференцировать их в каждом отдельном случае, необходимо рассмотреть разные варианты общественного развития. Ясность в этом вопросе будет достигнута только тогда, когда четче вырисуются контуры будущего.

Теоретическому сидению между двух стульев соответствует такая же практика. Решительный отпор получают как те, кто в борьбе с напором «иррационального духа времени» придерживается предпосылок просветительского XX века, так и те, кто сегодня готов вместе с накопившимися аномалиями спустить в реку истории и весь проект модерна.

К панораме страха, развернувшейся во всех уголках рынка мнений, страха перед угрожающей самой себе цивилизацией добавить нечего; как и к проявлениям Новой беспомощности, которая утратила дихотомию «цельного» даже в своих противоречиях мира индустриализма. В книге, предлагаемой вниманию читателя, речь идет о *втором*, следующим за этим шаге. Это состояние она и делает предметом рассмотрения. В ней ставится вопрос о том, каким образом в рамках социологически информированного и инспирированного мышления можно *понять* и осмыслить эту неуверенность духа времени, отрицать которую в плане критики идеологии было бы цинично, а поддаваться ей без сопротивления – опасно. Центральную теоретическую идею, выработанную с этой целью, легче всего объяснить с помощью исторической аналогии: *как в XX веке модернизация привела к распаду закосневшее в сословных устоях аграрное общество, так и теперь она размывает контуры индустриального общества, и последовательное развитие модерна порождает новые общественные конфигурации.*

Границы этой аналогии указывают и на особенности перспективы. В XIX веке модернизация проходила на фоне ее противоположности: традиционного унаследованного мира и природы, которую нужно было познать и покорить. Сегодня, на рубеже XX—XXI веков, модернизация свою противоположность *поглотила, уничтожила* и принялась в своих индустриально-общественных предпосылках и функциональных принципах уничтожать *самое себя*. Модернизация в соответствии с опытом *досовременного* мира вытесняется проблемными ситуациями модернизации *относительно самой себя*. Если в XIX веке утрачивали привлекательность сословные привилегии и религиозные представления о мире, то теперь теряют свое значение научно-техническое понимание классического индустриального общества, образ жизни и формы труда в семье и профессии, образцы поведения мужчин и женщин и т.д. Модернизация в рамках индустриального общества заменяется модернизацией *предпосылок* индустриального общества, которая не была предусмотрена ни одним используемым и донныне теоретическим пособием XIX века о правилах политического поведения. Именно этот наметившийся антагонизм между модерном и индустриальным обществом (во всех его вариантах) размывает сегодня ту систему координат, в которой мы привыкли осмыслять модерн в категориях индустриального общества.

Нас еще долго будет занимать это различие между традиционной модернизацией и модернизацией индустриального общества, или, говоря по-другому, между *простой* и *рефлексивной* модернизацией. Оно будет намечено в ходе изучения конкретных сфер деятельности. Даже если еще абсолютно неясно, какие «неподвижные звезды» индустриально-общественной мысли закатятся в процессе только-только начавшейся рационализации *второй ступени*, уже сегодня можно обоснованно предположить, что это коснется самых прочных «законов», таких, как функциональная дифференциация или массовое производство.

Двумя последствиями примечательна необычность этой перспективы. Она утверждает то, что до сегодняшнего дня казалось немислимым, а именно: что индуст-

риальное общество в своем *победном шествии*, т.е. незаметными путями нормы, через черный ход побочных последствий покидает сцену мировой истории – и совсем не так, как предусмотрено в иллюстрированных учебниках по теории общественного развития, а без политического треска (революций, демократических выборов). Она утверждает далее, что «антимодернистский» сценарий, волнующий сейчас мировую общественность, – критика науки, техники, прогресса, новые социальные движения, – отнюдь не вступает в противоречие с модерном, а является выражением его последовательного развития за пределы индустриального общества.

Общее содержание модерна вступает в противоречие с омертвелостями и половинчатостями в самой концепции индустриального общества. Подходы к этому воззрению блокируются нерушимым, до сих пор неосознанным *мифом*, в котором в значительной степени застряла общественная мысль XIX века и который отбрасывает свою тень еще и на последнюю треть XX века, а именно мифом о том, что развитое индустриальное общество с его схематизмом работы и жизни, с его секторами производства, пониманием роли науки и техники, с его формами демократии является обществом *насквозь современным*, вершиной модерна, возвышаться над которой ему даже не приходит в голову. Этот миф находит выражение во многих формах. Одной из самых действенных считается нелепая шутка о *конце исторического общественного развития*. Эта шутка в своих оптимистических и пессимистических вариантах ослепляет мышление нашей эпохи, в которой установившаяся система обновления благодаря освободившейся в ней динамике начинает ревизовать самое себя. Мы пока даже не можем представить себе возможностей изменения общественного облика современного мира, так как теоретики индустриально-общественного капитализма *повернули в сторону априорности* исторический образ модерна, который во многих отношениях еще находится в зависимости от своей противоположности в XIX веке. В характерном для Канта вопросе о возможностях современных обществ исторически обусловленные контуры, конфликтные линии и функциональные принципы индустриального капитализма вообще подстраивались к потребностям модерна. Еще одно доказательство этого – курьезность, с которой общественные науки ничтоже сумняшеся утверждают, что в индустриальном обществе изменяется все – семья, профессиональная подготовка, социальные классы, наемный труд, наука – и в то же время изменения эти не затрагивают *ничего* существенного – семью, профессиональную подготовку, социальные классы, наемный труд, науку.

Настоятельнее чем когда-либо прежде мы нуждаемся в понятийном аппарате, который – без ложно понятого обращения к вечно старому новому, исполненный печали прощания и не утративший хорошего отношения к нетленным сокровищницам традиции – позволит заново осмыслить надвигающиеся на нас новые явления и научиться жить и работать с ними. Идти по следу новых понятий, которые уже сегодня возникают в процессе распада старых, – нелегкое занятие. Для одних это пахнет «изменением системы» и подлежит компетенции органов по охране конституции. Другие замкнулись в своих убеждениях и во имя выработанной вопреки внутреннему чувству «верности линии» (а это может означать многое – марксизм, феминизм, квантитативное мышление, специализация) начинают нападать на все, что источает запах уклонизма.

Однако или именно поэтому мир не гибнет, во всяком случае, он не погибнет из-за того, что сегодня рушится мир XIX века. К тому же это еще и преувеличение. Особенно стабильным общественное устройство XIX века не было, как известно, никогда. Оно уже не раз погибало – в мыслях людей. Там его погребли еще до того, как оно появилось на свет. Мы видим, что видения Ницше или поставленные на сцене драмы ставшего ныне «классическим» (то есть старым) литературного модерна находят свое (более или менее) *репрезентативное* выражение на кухне или в спальне. Происходит, стало быть, то, о чем давно уже помышляли. И происходит – если при-

кинуть на глазок – с опозданием от полстолетия до целого столетия. Происходит уже давно. И будет происходить впредь. И пока еще не происходит ничего.

Мы понимаем также, если отвлечься от литературных вариантов распада и гибели, что и *после всего этого нужно продолжать жить*. Мы, так сказать, переживаем то, что происходит, когда в драме Ибсена опускается занавес. Мы переживаем не отображенную на сцене действительность послебуржуазной эпохи. Или, применительно к цивилизационным угрозам, мы являемся наследниками *обретшей реальные очертания* критики культуры, которая уже не может удовлетвориться критическим диагнозом культурного развития, так как он во все времена был скорее предостерегающим пессимистическим прогнозом на будущее. Не может целая эпоха провалиться в пространство по ту сторону существовавших до сих пор категорий, не заметив, что это пространство – всего лишь протянувшиеся за собственные пределы притязания прошлого, которое утратило власть над настоящим и будущим.

В последующих главах предпринимается попытка в полемике с тенденциями развития основных сфер общественной практики подхватить ход мысли и распространить ее на понятийность индустриального общества (во всех его вариантах). Центральная идея рефлексивной модернизации индустриального общества развивается в двух направлениях. Сначала на примере *производства богатств и производства рисков* рассматривается противоречивое единство непрерывности и прерывности. Вывод: в то время как в индустриальном обществе «логика» производства богатства доминирует над «логикой» производства риска, в обществе риска это соотношение меняется на противоположное (часть 1). В рефлексивности модернизационных процессов производительные силы утратили свою невинность. Выгода от технико-экономического «прогресса» все больше оттесняется на задний план производством рисков. Узаконить их можно только на ранней стадии – в качестве «скрытых побочных действий». Вместе с их универсализацией, публичной критикой и (анти)научным исследованием они сбрасывают покров латентности и получают новое и центральное значение при обсуждении социальных и политических конфликтов.

Эта «логика» производства и распределения рисков рассматривается в сравнении с «логикой» распределения богатства (до сих пор определявшей развитие общественно-политической мысли). В центре стоят модернизационные риски и их последствия, которые проявляются в непоправимом ущербе жизни растений, животных и людей. Их нельзя уже, как это было с производственными и профессиональными рисками в XIX веке и в первой половине XX века, локализовать и ограничить специфическими группами населения; в них присутствует тенденция к глобализации, которая охватывает производство и воспроизводство, пересекает национально-государственные границы и в этом смысле порождает *наднациональные* и *неклассовые глобальные угрозы* с их своеобразной социальной и политической динамикой (главы 1 и 11).

Однако эти социальные угрозы и их культурный и политический потенциал – только одна сторона общественного риска. Другая сторона попадает в поле зрения, если в центр рассмотрения поставить *имманентно присущие индустриальному обществу противоречия между модерном и его противоположностью*. С одной стороны, вчера, сегодня и на все времена контуры индустриального общества набрасывались и набрасываются как контуры общества больших групп населения – классов или социальных слоев. С другой, классы по-прежнему зависят от значимости социальных классовых культур и традиций, которые в ходе модернизации послевоенной ФРГ, общества всеобщего благоденствия, были как раз *поколеблены* в своих унаследованных ценностях (глава 111).

С одной стороны, с развитием индустриального общества совместная жизнь людей согласовывалась с нормами и стандартами небольшой семьи. С другой, не-

большая семья строится на «сословном» положении мужчины и женщины, которое в непрерывном процессе модернизации (приобщение женщин к получению образования и к рынку труда, растущее количество разводов и т.д.) становится неустойчивым. Но тем самым приводится в движение соотношение между производством и воспроизводством, как и все, что связано между собой в индустриальной «традиции небольшой семьи» (брак, материнство и отцовство, сексуальность, любовь и т.д. (глава IV).

С одной стороны, индустриальное общество мыслится в категориях *общества, стремящегося к получению доходов*. С другой, актуальные мероприятия по рационализации нацелены именно на основы связанного с ними общественного устройства: скользящие графики рабочего времени и смена рабочих мест стирают границы между работой и не-работой. Микроэлектроника позволяет заново, поверх производственных секторов, связать в единую сеть предприятия, филиалы и потребителей. Тем самым модернизация как бы устраняет прежние правовые и социальные предпосылки системы занятости: массовая безработица интегрируется через новые формы *«многообразной неполной занятости»* в систему занятости – со всеми вытекающими отсюда рисками и шансами (глава V).

С одной стороны, в индустриальном обществе обретает официальный характер наука, а вместе с ней и *методологические сомнения*. С другой, эти сомнения (вначале) ограничиваются чисто внешней стороной дела, объектами исследования, в то время как основы и следствия научной работы отгораживаются от бушующего внутри скептицизма. Это деление сомнения так же необходимо для целей профессионализации, как оно неустойчиво ввиду неделимости подозрения в ошибочности прогноза; в своей непрерывности научно-техническое развитие претерпевает разрыв между соотношением внешнего и внутреннего. Сомнение распространяется на основы и риски научной работы, а в результате обращение к науке одновременно *обобщается и демистифицируется* (глава VII).

С одной стороны, вместе с развитием индустриального общества утверждаются притязания и формы *парламентской демократии*. С другой, радиус значимости этих принципов *раздваивается*. Субполитический процесс обновления «прогресса» остается в компетенции экономики, науки и технологии, для которых самоочевидные в демократической системе вещи аннулированы. В непрерывности модернизационных процессов это становится проблематичным там, где – перед лицом накопивших опасный потенциал производительных сил – субполитика перехватывает у политики ведущую роль в формировании общества (глава VIII).

Иными словами: в проект индустриального общества на разных уровнях – например, в схему «классов», «небольшой семьи», «профессиональной работы», в понятия «науки», «прогресса», «демократии», – встроены элементы *индустриально-имманентного традиционализма*, основы которых становятся хрупкими и аннулируются в рефлексивности модернизаций. Как ни странно это звучит, но обусловленные этим эпохальные волнения суть результаты *успеха* модернизаций, которые теперь протекают *не* в русле и категориях индустриального общества, а *вопреки* им. Мы переживаем изменение основ изменения. Осмыслить это можно при условии, что образ индустриального общества будет подвергнут пересмотру. Оно по своему замыслу есть *полусовременное общество*, при этом встроенный в него контрсовременный мир не есть нечто старое, он – *конструкт и продукт индустриального общества*. Структура индустриального общества основана на *противоречии* между универсальным содержанием модерна и функциональным устройством его институтов, в которые это содержание может быть транспонировано только партикулярно-селективным способом. Но это означает, что индустриальное общество в процессе развития *само становится неустойчивым*. Непрерывность становится «причиной» разрыва. Люди *освобождаются* от форм жизни и привычек индустриально-

общественной эпохи модерна – точно так же как в эпоху Реформации они «выпускались» из светских рук церкви в общество. Вызванные этим потрясения образуют другую сторону общества риска. Система координат, в которой закрепляется жизнь и мышление индустриального модерна – оси «семья и профессия», вера в науку и прогресс, – расшатывается, возникает новая двусмысленная связь между шансами и рисками, то есть вырисовываются контуры общества риска. Шансы? Принципы модерна в обществе риска предъявляют иск индустриально-общественному развитию.

Эта книга в разных вариациях отражает процесс самопознания и самообучения ее автора. В конце каждой главы я умнее, чем в начале. Велико было искушение переосмыслить и переписать эту книгу заново, начав с конца. Этому помешала не только нехватка времени. Задуманное вновь продемонстрировало бы лишь промежуточную стадию. Это еще раз подчеркивает подвижный характер аргументации и ни в коем случае не должно быть понято как бланковый чек для встречных претензий. Для читателя выгода в том, что он может обдумывать главы в другой последовательности или каждую в отдельности, и воспринимать их как сознательный призыв к сотрудничеству, полемике и дальнейшей работе над темой.

Практически все близкие мне люди в то или иное время были активными разработчиками и комментаторами этого текста. Кое-кто делал это без особой радости, но всегда предлагал множество новых вариантов. Все вошло в книгу. Ни в тексте, ни в этом предисловии я не могу в полной мере воздать должное сотрудничеству по большей части молодых ученых из моего научного окружения. Для меня оно стало огромным ободряющим переживанием. Некоторые части этой книги представляют собой почти что плагиат личных разговоров и совместной жизни. Не претендуя на полноту, выражаю благодарность Элизабет Бек-Гернсхайм за нашу неповседневность в повседневной жизни, за вместе пережитые идеи и за несокрушимую непочтительность; Марии Реррих за многие стимулирующие идеи, беседы, обработку сложных материалов; Ренате Шютц за необыкновенно заразительную философскую любознательность и за воодушевляющие видения. Вольфгангу Бонсу за полезные обсуждения почти всех частей книги; Петеру Бергеру за предоставленное в мое распоряжение письменное выражение его полезного для меня недовольства книгой; Кристофу Лау за помощь в осмыслении и уточнении не очень удачных аргументов; Герману Штумпфу и Петеру Зоппу за ценные советы и активную помощь в нахождении необходимой литературы и материалов; Ангелике Шахт и Герлинде Мюллер на надежность и усердие при перепечатке текста.

Великодушную коллегиальную поддержку мне оказали также Карл Мартин Больте, Хайнц Хартман и Леопольд Розенмайр. Встречающиеся в книге повторы и неудачные образы я отношу на счет признаваемого мной несовершенства данной работы.

Не ошибется тот, кто заметит между строк блеск озера. Большие куски текста писались на холме, возвышающемся над Штарнбергским озером, при живом участии природы. Удачная подсказка света, ветра и облаков немедленно использовалась в работе. Этим необычным местом работы – чаще всего под ясным сияющим небом – я мог воспользоваться благодаря гостеприимной заботе госпожи Рудорфер и всей ее семьи: чтобы не мешать мне, даже животные паслись и дети играли на достаточном удалении от меня.

Фонд «Фольксваген» предоставлением академической стипендии создал предпосылки для досуга, без чего я вряд ли решился бы на авантюру этой аргументации. Бамбергские коллеги Петер Гросс и Ласло Вашкович согласились ради меня на перенесение сроков своего свободного от занятий семестра, предназначенного для научной работы. Всем им выражаю сердечную благодарность – не призывая разделить со мной вину за мои ошибки и чересчур рискованные формулировки. Особо хочу поблагодарить тех, кто не тревожил мой покой и терпеливо сносил мое молчание.

Бамберг\Мюнхен, апрель 1986
Бек

Ульрих

Часть первая

На вулкане цивилизации: контуры общества риска

Глава первая

О логике распределения богатства и распределения рисков

В развитых странах современного мира общественное производство *богатств* постоянно сопровождается общественным производством *рисков*. Соответственно проблемы и конфликты распределения в отсталых странах усугубляются проблемами и конфликтами, которые вытекают из производства, определения и распределения рисков, возникающих в процессе научно-технической деятельности.

Эта смена логики распределения богатства в обществе, основанном на недостатке благ, логикой распределения риска в развитых странах модерна исторически связана (по крайней мере) с двумя обстоятельствами. Она, во-первых, наблюдается – сегодня это совершенно очевидно – там и в той мере, в какой благодаря достигнутому уровню человеческих и технолого-производительных сил, а также правовых и социально-государственных гарантий и регламентаций становится возможным объективно уменьшить и социально ограничить *подлинную материальную нужду*. Во-вторых, эта категориальная смена объясняется еще и тем, что вследствие стремительно растущих в процессе модернизации производительных сил риски и связанные с ними потенциалы самоуничтожения приобретают невиданный доныне размах¹.

По мере появления этих обстоятельств один исторический тип мышления и действия попадает в зависимость от другого или накладывается на него. Понятие «индустриального или классового общества» (как его – в широком смысле – толковали *Маркс* и *Вебер*) вращалось вокруг вопроса о том, как в социальном отношении неравномерно *и в то же время* «на законных основаниях» распределяется произведенное обществом богатство. Это пересекается с новой *парадигмой общества риска*, которое в своей основе базируется на решении сходной и все же совершенно иной проблемы. Каким образом предотвратить систематически возникающие в процессе прогрессивной модернизации риски и опасности, сделать их безопасными, канализировать, а там, где они уже появились на свет в виде «скрытых побочных воздействий», так отграничить и отвести в сторону, чтобы они не вставали на пути процесса модернизации и в то же время не выходили за пределы (кологические, медицинские, психологические, социальные) «допустимого»?

Речь уже не идет почти исключительно об использовании природных богатств, об освобождении человека от традиционных зависимостей, речь по большей части идет о проблемах, являющихся следствием самого технико-экономического развития. Процесс модернизации «самоосмысляется», становится сам своей темой и проблемой. На вопросы развития и использования технологий (в сфере природы, общества или личности) накладываются вопросы политического и научного «обра-

¹ *Модернизация* подразумевает технологические рационализаторские изменения в организации труда, а кроме того, охватывает и многое другое: смену социальных характеров и нормальных человеческих биографий, стилей жизни и форм любви, структур влияния и власти, форм политического принуждения и политической активности, восприятия действительности и норм познания. Плуг пахаря, паровоз и микрочип с точки зрения научно понимаемой модернизации являются видимыми индикаторами очень глубокого, охватывающего и преобразующего все общественное устройство процесса, в котором в конечном счете меняются *источники уверенности*, питающие жизнь (Koselleck, 1977, Lepsius, 1977, Eisenstadt, 1979). Обычно различают модернизацию и индустриализацию. В нашей работе мы простоты ради употребляем слово «модернизация» в широком смысле.

ния» (обнаружение, предотвращение, сокрытие, вовлечение, управление) с рисками, которые несут с собой ожидаемому будущему уже используемые или потенциальные технологии. Адресованные бдительной, критически настроенной общественности заверения в безопасности технологий снова и снова должны подкрепляться косметическим или подлинным вмешательством в технико-экономическое развитие.

Обе «парадигмы» социального неравенства постоянно соотносятся с определенными периодами модернизации. Распределение произведенного обществом продукта и возникающие в связи с этим конфликты находятся в центре внимания до тех пор, пока в странах и обществах (сегодня преимущественно в так называемом «третьем мире») мыслями и поступками людей владеет чувство материальной нужды, «диктатура нищеты». В условиях отсталого общества модернизацию проводят под предлогом обнаружения благодаря научно-техническому прогрессу скрытых источников общественного богатства. Обещания избавить людей от незаслуженной бедности и зависимости лежат в основе действия, мышления и исследования в категориях социального неравенства – от классового общества через общество разных социальных прослоек до индивидуализированного общества.

В высокоразвитых богатых государствах Запада наблюдается двоякий процесс: с одной стороны, борьба за «хлеб насущный» теряет в сравнении со снабжением вплоть до второй половины XX века и с угрозой голода в странах «третьего мира» свою актуальность как кардинальная проблема, отодвигающая на второй план все остальное. Многих людей волнует уже не проблема голода, а проблема «толстого брюха» (о «новой бедности» см. с. 143 слл.). Тем самым процесс модернизации лишается своего легитимного обоснования – преодоления очевидной нехватки продуктов, ради чего люди были готовы примириться с некоторыми (теперь уже не вполне) непредвиденными побочными явлениями.

Параллельно распространяется сознание того, что источники богатства «загрязняются» растущей угрозой, исходящей от этих «побочных явлений». Все это отнюдь не ново, но долгое время оставалось незамеченным на фоне усилий по преодолению нищеты. Благодаря чрезмерному развитию производительных сил эта обратная сторона приобретает все большее значение. В процессе модернизации все больше и больше высвобождаются такие *деструктивные* силы, которые просто недоступны человеческому воображению. Оба источника питают нарастающую критику модернизации, которая определяет громкий и резкий характер публичной полемики.

Если представить наши доказательства в систематическом виде, то дело выглядит так: социальные позиции и конфликты общества, «распределяющего богатства», рано или поздно в процессе непрерывной модернизации начинают пересекаться с позициями и конфликтами общества, «распределяющего риски». Начало этого перехода у нас в ФРГ приходится, по моему убеждению, на 70-е годы. Это означает, что с тех пор оба вида тем и конфликтов напластовываются друг на друга. Мы *еще не* живем в обществе риска, но и больше не живем *только* в обществе распределения благ. По мере осуществления этого перехода мы действительно приближаемся к переменам в общественном устройстве, которые выводят нас из существовавших до сих пор категорий, образа мыслей и способов действия.

Несет ли в себе понятие риска то общественно-историческое значение, которое здесь ему придается? Не идет ли тут речь об изначальном феномене человеческой деятельности? Разве риски, которые здесь отделяются от индустриальной эпохи, не являются ее собственным признаком? Разумеется, риски не изобретение нового времени. Кто, как Колумб, пускался в путь, чтобы открывать новые страны и части света, тот мирился с неизбежностью риска. Но это был личный риск, а не глобальная угроза для всего человечества, которая возникает при расщеплении атомного ядра

или складировании ядерных отходов. Слово «риск» в те времена имело оттенок мужества, приключения, а не возможного самоуничтожения жизни на Земле.

Леса тоже умирают уже в течение многих столетий – сначала в результате их превращения в пашню, а потом в результате беспощадных вырубок. Но умирание лесов сегодня происходит в *глобальных* масштабах, как скрытое следствие индустриализации – и с совершенно иными социальными и политическими последствиями. Им затронуты даже и прежде всего богатые лесами страны (Норвегия, Швеция), которые сами почти не обладают промышленностью с ядовитыми отходами, но вынуждены расплачиваться умирающими лесами и растениями, вымирающими видами животных за ядовитое производство других индустриально развитых стран.

Рассказывают, что моряки, которые в XIX веке падали в Темзу, погибали не потому, что тонули, а потому, что задыхались от дурно пахнущих испарений и ядов этой лондонской клоаки. Прогулка по узким улочкам средневекового города тоже была мучительным испытанием для обоняния. «Экскременты скапливаются везде, у основания шлагбаумов, в дрожках... Фасады парижских домов разрушаются от мочи... Организованное общество засорение грозит увлечь весь Париж в процесс гниения и распада» (*A. Corbin*, Berlin 1984, S. 41ff). И все же бросается в глаза, что тогдашние опасности, в отличие от сегодняшних, раздражали глаза и нос, то есть воспринимались органами чувств, тогда как сегодняшние риски, как правило, не поддаются восприятию и скорее коренятся в химико-физических формулах (например, содержание ядов в пище, радиоактивная опасность). С этим связано еще одно отличие. Тогда их можно было отнести к *недостаточной* обеспеченности гигиеническими технологиями. Сегодня их причина – в *избыточности* промышленной продукции. Нынешние риски и опасности существенно отличаются от внешне нередко сходных с ними средневековых *глобальностью* своей угрозы (человеку, растительному и животному миру) и современными причинами своего возникновения. Они в *общем и целом продукт* передовых промышленных технологий и с их дальнейшим совершенствованием будут *постоянно* усиливаться.

Без сомнения, риски, связанные с развитием промышленности, столь же стары, как и само это развитие. Обнищание значительной части населения – «риск бедности» – держало XIX век в напряжении. «Риски квалификации» и «риски здоровья» давно уже являются темой рационализации и связанных с ней социальных конфликтов, гарантий (и исследований). И все же риски, о которых пойдет речь в данной работе и которые вот уже несколько лет волнуют общественность, обладают новым качеством. Создаваемую ими угрозу уже нельзя отнести только к месту их возникновения – предприятию. По своей сути они угрожают жизни на этой планете, причем во всех ее проявлениях. В сравнении с ними профессиональные риски первоначальной индустриализации принадлежат совсем другому веку. Опасности высоко-развитых производительных сил в области химии или атомной энергетики упраздняют основы и категории, в рамках которых мы до сих пор мыслили и действовали, – пространство и время, труд и досуг, предприятие и национальное государство, даже границы между военными блоками и континентами.

В центре нашего исследования – социальная архитектура и политическая динамика подобных цивилизационных угроз собственному существованию. Аргументацию можно заранее сформулировать в *пяти тезисах*:

(1) Риски, возникающие на самой высокой ступени развития производительных сил, – я имею в виду прежде всего полностью недоступную для непосредственного восприятия органами чувств радиоактивность, но также вредные и ядовитые вещества в воздухе, воде, продуктах питания и связанные с этим кратковременные и долговременные последствия у растений, животных и человека, – эти риски существенно отличаются от богатств. Они высвобождают системно обусловленные, часто *необратимые* разрушительные силы, остаются, как правило, *невидимыми*, основны-

ваются на *каузальных интерпретациях*, то есть проявляются только в знании (научном или антинаучном) о них, могут этим знанием меняться, уменьшаться или увеличиваться, драматизироваться или недооцениваться; они, таким образом, в значительной мере *открыты для социальных дефиниций*. Следовательно, средства информации и понимание степени риска становятся ключевыми общественно-политическими позициями.

(2) С распределением и нарастанием рисков возникают *социально опасные ситуации*. В определенном смысле они являются следствием неравенства классов и социальных слоев, однако заставляют считаться с существенно иной логикой распределения: риски модернизации рано или поздно затрагивают и тех, кто их производит или извлекает из них выгоду. Им присущ эффект бумеранга, взрывающий схему классового построения общества. Богатые и могущественные от них тоже не защищены. Имеются в виду опасности, угрожающие не только здоровью, но и легитимизации состояний и доходов: с социальным признанием модернизационных рисков связано *обесценение и отчуждение экологии*, систематически вступающее в противоречие с интересами обогащения и наживы – движущей силой процесса индустриализации. В то же время риски производят неравенство на *интернациональном уровне*, с одной стороны, между третьим миром и промышленно развитыми странами, с другой стороны, между самими развитыми странами. Они вторгаются в систему компетенции суверенных государств. Перед лицом глобального, не признающего национальных границ перемещения ядовитых веществ жизнь травинки в баварском лесу зависит в конечном счете от заключения и выполнения международных соглашений.

(3) Вместе с тем распространение и умножение рисков ни в коей мере не прерывает с логикой развития капитализма, а скорее поднимает эту логику на новую ступень. Риски модернизации – это *big business*, большой бизнес. Они являют собой то, что ищут экономисты, – запросы, которые невозможно удовлетворить. Удовлетворить можно голод, другие потребности. Цивилизационные риски – это *бездонная бочка потребностей*, которая постоянно, без конца самообновляется. С рисками эконо-мика, если употребить выражение Лумана (Luhmann), *«ручается сама за себя»*, независимо от удовлетворения человеческих потребностей. Но это означает, что индустриальное общество, извлекая благодаря выпущенным на свободу рискам экономическую выгоду, одновременно создает опасные ситуации и политический потенциал общества риска.

(4) Богатствами можно *владеть*, риски нас *настигают*; нас *наделяет* ими само развитие цивилизации. Говоря упрощенно: в классовых обществах бытие определяет сознание, в то время как в обществе риска *сознание определяет бытие*. Знание приобретает новое политическое значение. Соответственно политический потенциал общества риска должен раскрываться и анализироваться в социологии и теории возникновения и распространения *знания о рисках*.

(5) Социально признанные риски, как это впервые четко проявилось в полемике об умирании лесов, несут в себе своеобразный политический детонатор: то, что до сих пор *считалось аполитичным, становится политикой – политикой устранения самих «причин» процесса индустриализации*. Неожиданно общественность и политика начинают вторгаться в заповедную сферу производственного менеджмента – в планирование, техническое оснащение производства и т.д. При этом становится абсолютно ясно, о чем идет речь в публичном споре об определении рисков: не только о побочных последствиях для здоровья природы и человека, но и о *социальных, экономических и политических побочных последствиях этих побочных последствий*. Это вторжение в рыночную экономику, обесценение капитала, открытие новых рынков, гигантские расходы, судебные преследования, потеря репутации. Благодаря маленьким и большим сбоям (сигнал опасности по причине смога, утечки ядовитых веществ и т.д.) в обществе риска возникает *политический потенциал катастроф*. Защита от

него, овладение им могут привести к *реорганизации власти и компетенции*. Общество риска есть *общество, чреватое катастрофами*. Его нормальным состоянием грозит стать чрезвычайное положение.

1. Естественнонаучное распределение вредных веществ и социальные ситуации риска

Дискуссия о содержании вредных и ядовитых веществ в воздухе, воде и продуктах питания, а также о разрушении природы и окружающей среды в целом все еще ведется исключительно или по преимуществу в *естественнонаучных* категориях и формулах. При этом остается неизвестным, что естественнонаучные «формулы обнищания» имеют социальное, культурное и политическое значение. Соответственно возникает опасность, что ведущаяся в химико-биолого-технических категориях дискуссия об окружающей среде невольно вызывает у людей представление о себе только как об *органическом механизме*. Тем самым ей грозит опасность превратить в свою противоположность ту ошибку, в какой она справедливо упрекала долгое время господствовавший оптимизм индустриального прогресса, – выродиться в дискуссию о природе *без человека*, без обсуждения социальной и культурной стороны дела. Дискуссии последних десятилетий, в которых снова и снова разворачивался весь арсенал критических аргументов по адресу техники и промышленности, оставались по своей сути *технократическими и натуралистическими*. Они с таким рвением и жаром ссылались на содержание вредных веществ в воздухе, воде и продуктах питания, на сравнительные величины роста населения, потребления энергии, потребности в продуктах питания, дефиците сырья и т.д., будто никогда и не было человека (например, Макса Вебера), который потратил немало времени, чтобы доказать: без учета социальных структур власти и распределения, роли бюрократии, господствующих норм и рациональных подходов это или бесполезно, или бессмысленно, или то и другое вместе. Незаметно сложилось такое представление, при котором взаимоотношения между техникой и природой сводились к формуле «преступник – жертва». С самого начала при таком подходе (и от политического движения в защиту окружающей среды) оставались скрыты социальные, политические и культурные реалии и последствия модернизационных рисков.

Проиллюстрируем это на примере. Совет экспертов по проблемам окружающей среды констатирует в своем заключении, что «в материнском молоке нередко находят в опасных концентрациях бета-гексахлорциклогексан, гексахлорбензол и ДДТ» (1985, S. 33). Эти ядовитые вещества содержатся в средствах защиты растений, которые уже изъяты из обращения. Их происхождение не выяснено (там же). В другом месте говорится: «Воздействие свинца на население в среднем незначительно» (с. 35). Что за этим кроется? Быть может, нечто аналогичное такому распределению: у двух человек есть два яблока. Один из них съел оба. Следовательно, *в среднем* каждый съел по одному. Применительно к распределению продуктов питания в мировом масштабе это высказывание звучало бы так: «в среднем» все люди на Земле сыты. Цинизм такого утверждения очевиден. В одной части света люди умирают от голода, в другой первостепенным фактором издержек стали проблемы переизбытка. Вполне возможно, что применительно к вредным и ядовитым веществам это высказывание *не* цинично, что воздействие *в среднем* является *действительным* воздействием на *все* группы населения. Но знаем ли мы это? Разве для оправдания такого заявления не обязательно знать, какие еще яды люди вынуждены вдыхать и глотать? Поразительно, что о «средних» показателях спрашивают как о чем-то само собой разумеющемся. Кто спрашивает о показателях «на душу населения», тот закрывает глаза на неодинаковые уровни опасности для разных слоев населения. Но именно их-то и не-

возможно определить. Может быть, существуют группы и условия жизни, для которых «в среднем незначительное» содержание свинца опасно для жизни.

Следующая фраза экспертного заключения звучит так: «Лишь вблизи вредных производств у детей обнаруживают иногда опасные концентрации свинца». Показательно в этих и им подобных анализах состояния окружающей среды не только полное отсутствие какой бы то ни было социальной дифференциации. Показательно и то, какая дифференциация проводится: по *региональному* и *возрастному* принципу, то есть по критериям, свойственным *биологическому* (или – шире – естественнонаучному) мышлению. Подобный подход нельзя ставить в вину экспертным комиссиям. Он лишь наглядно отражает общепринятую научную и общественную позицию по проблемам окружающей среды. Эти проблемы рассматриваются главным образом в плане природы и техники, экономики и медицины. Поразительно при этом, что разрушительная индустриальная нагрузка на окружающую среду и ее многообразные воздействия на здоровье и жизнь людей в высокоразвитых общества сопровождаются *исчезновением общественной мысли*. К этому добавляется еще одно гротескное обстоятельство: исчезновения никто не замечает, даже сами социологи.

Исследуется распределение вредных веществ, ядов и рисков в воде, воздухе, почве, продуктах питания и т.д. Дифференцированные результаты исследований предоставляются испуганной общественности в многоцветных «картах состояния окружающей среды». Ясно, что подобные способы рассмотрения и изображения уместны в той мере, в какой они дают представление об окружающей среде. Но как только из них *делаются выводы, касающиеся жизни людей*, лежащий в их основе способ мышления оказывается *несостоятельным*. В этом случае или допускается в общем и целом, что *все* люди, независимо от дохода, образования, профессии и связанных с этим возможностей и привычек питания, проживания, использования свободного времени, в исследуемых регионах *одинаково* подвержены воздействию вредных веществ (что еще требуется доказать), или же люди и масштаб нависшей над ними угрозы вообще выносятся за скобки, и разговор идет только о вредных веществах, их распределении и воздействии на регион.

Ведущаяся в естественнонаучных категориях дискуссия о вредных воздействиях, таким образом, исходит из ошибочного умозаключения, что биологические факторы не связаны с социальными, или из такого рассмотрения природы и окружающей среды, которое исключает из круга своих интересов избирательную угрозу людям и связанные с ней социальные и культурные смыслы. Одновременно вне поля зрения оказывается то, что *одни и те же* вредные вещества для разных людей – в зависимости от возраста, пола, привычек питания, характера работы, информированности, образования и т.д. – могут иметь совершенно *разное* значение.

Особая трудность заключается в том, что исследования отдельных вредных веществ не в состоянии выяснить их концентрации *в человеке*. То, что может показаться «безопасным» применительно к одному какому-либо продукту, будет крайне опасным в «конечном накопителе», каким стал человек на высокой стадии развития рыночного хозяйства. Здесь налицо *категориальная ошибка*: ориентированный на природу или продукт производства анализ не в состоянии ответить на вопрос о безопасности, по крайней мере до тех пор, пока «опасность» или «безопасность» имеют дело с людьми, которые все это глотают или вдыхают (подробнее об этом см. с. 85 слл.). Известно, что вдыхание многих лекарств может устранить или усилить воздействие каждого из них. Но человек, как известно, (пока еще) не живет одними только лекарствами. Он вдыхает вредные вещества вместе с воздухом, пьет их с водой, съедает вместе с овощами и т.д. Другими словами: безопасные величины имеют нехорошее свойство накапливаться. Становятся ли они от этого – как обычно бывает при сложении по правилам математики – все безопаснее?

2. О зависимости модернизационных рисков от знания

Риски, как и богатства, являются предметом распределения; те и другие создают ситуации – ситуации *риска* и *классовые* ситуации. Но тут и там речь идет о совершенно ином продукте и ином спорном предмете распределения. В случае с общественными благами речь идет о товарах, доходах, шансах получить образование, имуществе и т.д. как о вещах, которые люди стремятся получить. Напротив, риски являются *сопутствующим продуктом модернизации* и производятся в такой изобилии, что их *желательно предотвращать*. То есть их нужно или устранять, или отрицать, переосмысливать. *Позитивной логике присвоения*, стало быть, противостоит *негативная логика отторжения*, предотвращения, устранения, переосмысления.

Если доход, образование и т.д. являются для отдельного человека потребляемыми, познаваемыми на опыте благами, то о существовании и распределении опасностей и рисков можно узнать *только на основании аргументов*. То, что наносит вред здоровью, разрушает природу, часто недоступно чувственному восприятию, и даже там, где это лежит на поверхности, для «объективной» констатации опасности требуется специальное заключение экспертов. Многие из рисков нового типа (радиационное или химическое заражение, вредные вещества в пище, цивилизационные болезни) абсолютно не поддаются непосредственному чувственному восприятию человека. На передний план все больше и больше выдвигаются опасности, которые люди, им подверженные, часто не видят и не ощущают, опасности, которые скажутся уже не при жизни самих этих людей, а на их потомках, в любом случае такие опасности, *для обнаружения и интерпретации которых нужны «воспринимающие органы» науки – теории, эксперименты измерительные инструменты*. Парадигмой этих опасностей являются изменяющие генетическую структуру последствия радиоактивности, которые, как показала авария ядерного реактора в Харисбурге, хотя и не ощущаются пострадавшими, но, создавая чудовищные нервные нагрузки, ставят их в *полную* зависимость от мнений, ошибок и разногласий экспертов.

Мысленное соединение разобченного: догадки о причинной связи

Разумеется, этой зависимости от знаний и невидимости цивилизационных ситуаций риска недостаточно для их понятийного определения; в них уже содержатся новые компоненты. Констатации рисков никогда не сводятся к простым констатациям фактов. В них конститутивно присутствует как *теоретическая*, так и *нормативная* составляющая. Утверждение об «опасной концентрации свинца у детей» или «пестицидов в материнском молоке» столь же мало является цивилизационной ситуацией риска, как и концентрация нитратов в реках или серного ангидрида в воздухе. Нужно объяснить причины, показать, что это продукт индустриального способа производства, побочное следствие модернизации. В социально признанных рисках, таким образом, предполагаются инстанции и действующие лица модернизационного процесса со всеми их местными интересами и зависимостями; они поставлены в прямую причинно-следственную взаимосвязь с вредными явлениями и угрозами, полностью отделенными от этого процесса в социальном, содержательном, пространственном и временном отношениях. Женщина, которая в своей трехкомнатной квартире в пригородном районе кормит грудью своего трехмесячного малыша, имеет, следовательно, прямое отношение к химической промышленности, выпускающей защитные средства для растений, к крестьянам, вынужденным в соответствии с аграрной политикой общего рынка производить специализированную массовую продукцию и чрезмерно удобрять почву, и т.д. Во многом остается неясно, в каком радиусе можно и должно вести поиск побочных воздействий. Даже в мясе антарктических пингвинов недавно была обнаружена повышенная доза ДДТ.

Эти примеры можно толковать двояко: во-первых, в том смысле, что модернизационные риски имеют одновременно как специфически местные, так и *неспецифически универсальные проявления*; во-вторых, как доказательства того, насколько неожиданны и непредвиденны скрытые пути их вредных воздействий. Таким образом, то, что было разъединено в содержательном и материальном, временном и пространственном отношениях, в модернизационных рисках обнаруживает причинно-следственную взаимосвязь и тем самым ставится в контекст социальной и правовой ответственности. Однако, как известно по крайней мере со времен Хьюма, догадки о причинной связи принципиально не поддаются восприятию. Они представляют собой теорию. Их нужно домысливать, предполагать, что это так и есть, в них нужно верить. В этом смысле риски тоже *невидимы*. Предполагаемая причинность всегда остается более или менее сомнительной и предварительной. В этом смысле и применительно к обыденному сознанию риска речь идет о *теоретическом* и тем самым *онаученном* сознании.

Имплицитная этика

Но и этой каузальной связи того, что разделено институционально, недостаточно. Испытание риском предполагает *нормативный* горизонт утраченной уверенности, нарушенного доверия. Даже там, где риски фигурируют в виде цифр и формул, они остаются связанны с определенной территорией, остаются математическими сгустками нарушенных представлений о достойной человека жизни. В них требуется поверить, испытать их на собственном опыте в *таком* виде невозможно. В этом смысле риски являют собой объективно представленные негативные образы утопий, в которых гуманное или то, что от него осталось, консервируется и заново оживает в модернизационном процессе. Этот невидимый нормативный горизонт, где становится наглядным только сомнительный характер рисков, нельзя устранить ни математическим, ни экспериментальным путем. За всеми рассмотренными, по существу, рано или поздно встает вопрос о *приемлемости*. То есть старый и вечно новый вопрос о том, *как мы хотим жить*. Заслуживает ли сохранения человеческое в человеке и природное в природе и что это такое? Получающие все более широкое распространение разговоры о «катастрофе» в этом смысле суть утрированное, доведенное до крайности, принявшее форму делового спора выражение того, что такое развитие *нежелательно*.

Эти старые и вечно новые вопросы о том, что есть человек и как мы относимся к природе, могут попеременно вставать в повседневной жизни, в политике, в науке. На высокой стадии развития цивилизации они включаются в повестку дня в первоочередном порядке, в том числе и прежде всего там, где они до поры до времени выступают как бы в шапке-невидимке математических формул и методологических контроверз. Констатации рисков есть та форма, в которой этика, а вместе с ней философия, культура, политика снова занимают свое место в центрах модернизации – в экономике, естественных науках, технических дисциплинах. Констатации рисков – это еще непризнанный, неразвитый симбиоз естественных и гуманитарных наук, обыденной рациональности и рациональности экспертов, интереса и факта. Одновременно они ни то, ни другое в отдельности. Они то и другое вместе, причем в новой форме. Их уже нельзя развивать и фиксировать изолированно, в соответствии с собственными стандартами рациональности. Они предполагают взаимодействие поверх переживающих серьезные трудности научных дисциплин, общественных групп и предприятий, взаимодействие над управлением и политикой или, что вероятнее, они распадаются на противоречивые дефиниции, *на борьбу дефиниций*.

Существенный и чреватый последствиями вывод заключается в следующем: в определениях риска нарушается *монополия науки на рациональность*. Существуют конкурирующие, конфликтные претензии, интересы и точки зрения различных участников модернизации и групп пострадавших, которые в дефинициях риска поневоле должны рассматриваться в единстве – как причина и следствие, виновник и пострадавший. Надо признать, многие ученые берутся за дело со всем пылом и пафосом своей деловой рациональности, их профессиональные усилия возрастают пропорционально растущему политическому содержанию их дефиниций. Но по самой сути своей работы они зависят от *социальных* и потому как бы *заранее заданных* ожиданий и оценок: где и как проводить границу между уже учтенными и более не поддающимися учету вредными воздействиями? Насколько компромиссны принятые при этом масштабы? Нужно ли мириться с возможностью экологической катастрофы ради удовлетворения экономических интересов? Что необходимо предпринять, в чем заключается необходимость мнимая и необходимость, чреватая изменениями? Претензии научной рациональности на *объективное* выяснение уровня риска в опасных ситуациях постоянно противоречат сами себе: они основываются на *карточном домике спекулятивных предположений* и колеблются исключительно в пределах вероятностных высказываний; содержащиеся в них прогнозы безопасности не могут быть опровергнуты даже *реально* происходящими авариями. Кроме того, чтобы вообще осмысленно говорить о рисках, нужно занять определенную *оценочную* позицию. Констатации риска *базируются* на математических *возможностях* и общественных интересах прежде всего там, где они могут уверенно заявить о себе благодаря техническим средствам. Занимаясь цивилизационными рисками, наука всегда покидала почву экспериментальной логики и вступала в полигамный брак с экономикой, политикой и этикой или, говоря точнее, она сожительствует с ними «без официального оформления отношений».

Это скрытое чужое предписание в исследовании рисков превращается в проблему там, где ученые все еще выступают с монопольными претензиями на рациональность. Исследования надежности реакторов ограничиваются оценкой определенных рисков, поддающихся количественному анализу на примере *вероятных* аварий. Размеры риска с самого начала сводятся к проблеме *технической управляемости*. Напротив, широкие слои населения и противников атомной энергетики волнует в первую очередь *потенциал катастроф*, заключенный в ядре. Даже считающаяся ничтожной вероятность аварии становится слишком высока там, где авария означает уничтожение. Кроме того, в публичных дискуссиях играют роль такие особенности риска, какие учеными вовсе не исследуются, например распространение атомного оружия, противоречие между человеческим организмом (ошибки, несостоятельность) и безопасностью, долгосрочность и необратимость принятых технологических решений, ставящих под угрозу жизнь следующих поколений. Иными словами, в дискуссиях о рисках обнажаются трещины и разрывы между научной и социальной рациональностью в обращении с цивилизационными потенциалами риска. Спорят, не слушая друг друга. Одна сторона ставит вопросы, на которые другая не дает ответа, эта другая сторона отвечает на вопросы, не затрагивающие сути того, о чем ее спрашивают и что порождает страхи.

Научная и социальная рациональность разделены пополам, но в то же время остаются в зависимости друг от друга, так как соединены множеством нитей. Строго говоря, даже различать их становится все труднее. Научные занятия рисками индустриального развития в той же мере соотносены с социальными ожиданиями и оценочными горизонтами, в какой социальная полемика и восприятие рисков в свою очередь зависят от научных аргументов. Исследование рисков идет чуть ли не застенчиво, вслед вопросам, задаваемым «врагами техники», которых оно призвано

обуздать, благодаря чему в последние годы на его долю выпало невиданное материальное поощрение. Публичная критика и общественная обеспокоенность черпают силы из диалектического противостояния экспертизы и контрэкспертизы. *Без научных аргументов они глухи*, более того, они часто не в состоянии воспринимать в большинстве случаев «невидимый» объект и процесс своей критики и своих страхов. Несколько изменив известное высказывание, можно утверждать: научный рационализм без социального *пуст*, социальный без научного – *слеп*.

Тем самым мы отнюдь не рисуем картину всеобщей гармонии. Наоборот: речь идет о конкурирующих, конфликтных, борющихся за свое влияние претензий. Тут и там во главу угла ставятся разные цели, варьируются разные подходы, устанавливаются разные константы. Если там преимущество отдается способам промышленного производства, то здесь акцент ставится на технологическом устранении вероятных аварий и т.д.

Многообразие дефиниций: все больше рисков

Теоретическим и ценностным содержанием рисков обусловлены новые компоненты: поддающаяся наблюдению *плюрализация конфликтов и многообразие определений цивилизационных рисков*. Происходит, так сказать, перепроизводство рисков, которые частично ставят под сомнение, частично дополняют друг друга, частично взаимно понижают свой уровень. Каждая заинтересованная точка зрения пытается защитить себя с помощью определений риска и таким образом вытеснить риски, угрожающие ее кошельку. Угрозы почве, растениям, воздуху, воде и животному миру в этой борьбе всех против всех за такое определение риска, которое принесло бы наибольшую выгоду, занимают особое место, так как они ставят на обсуждение вопросы *всеобщего блага* и выражают интересы тех, кто не может заявить о них сам (быть может, людей образумило бы только введение активного и пассивного избирательного права для травинки и дождевых червей). Для соотнесенности рисков с материальными интересами и ценностями *плюрализация* очевидна: значимость, неотложность и существование рисков колеблются в зависимости от многообразия интересов и оценок. Куда менее очевидно воздействие *плюрализации* на содержательную интерпретацию рисков.

Причинная связь, возникающая в рисках между актуальными и потенциальными вредными воздействиями и системой промышленного производства, открывает пути для бесконечного множества отдельных интерпретаций. В сущности говоря, по крайней мере в опытным порядке можно поставить во взаимосвязь все со всем – при условии сохранения основной модели: модернизация как причина, ущерб как побочное следствие. Много не подтвердится. Но и то, что подтвердилось, должно будет отстаивать себя в борьбе с постоянно возникающими сомнениями. Однако существенно то, что даже при необозримом множестве возможностей интерпретации снова и снова будут ставиться во взаимосвязь друг с другом *отдельные* предпосылки. Возьмем, к примеру, умирание лесов. Пока причиной и виновниками этого считались короеды, белки или соответствующие лесничества, речь шла не о «рисках модернизации», а о халатности работников лесного хозяйства или о прожорливости животных.

Совершенно иная арена причин и виновников обнаруживается тогда, когда преодолевается эта типично локальная ложная диагностика, и умирание лесов осознается и признается как следствие *индустриализации*. Только тогда это становится долгосрочной, системно обусловленной проблемой, которую нельзя устранить на местном уровне, которая требует *политических* решений. Если новая точка зрения получила право на существование, открывается бесконечное множество новых возможностей. Что навязывает нам вместе с опаданием листьев вечную и последнюю осень – серный ангидрид, азот со своими фотоокислителями, углеводородами и прочими

сегодня абсолютно неизвестными нам веществами? Сами по себе химические формулы конечно важны. Вслед за ними под обстрел общественной критики попадают фирмы, отрасли промышленности и науки, научные и профессиональные группы. Ибо всякая социально признанная «причина» оказывается под массивным прессом воздействия, а вместе с этой причиной критикуется и система действий, в которой она возникает. Даже если это общественное давление встречает сопротивление и отражается, падает сбыт, обрушиваются рынки, приходится заново завоевывать и закреплять «доверие» потребителей с помощью широкомасштабных и дорогостоящих рекламных акций. Может ли автомобиль считаться «загрязнителем природы» и «губителем лесов»? Или же необходимо встроить наконец в работающие на угле электростанции высококачественные, созданные на высшем технологическом уровне приспособления по удалению серы и азота? Но скорей всего и это не поможет, так как вредные вещества, убивающие леса, доставляются к нам без всяких транспортных расходов ветрами из фабричных и выхлопных труб соседних с нами стран?

Везде, куда в поисках причин падает луч прожектора, вспыхивает огонь, и наскоро сколоченной и кое-как оснащенной «пожарной команде» приходится гасить его мощной струей контринтерпретации, чтобы спасти то, что еще можно спасти. Кто вдруг обнаруживает, что пригвожден к позорному столбу экологически опасного производства, тот с помощью мало-помалу институализированной производством «контрнауки» всячески пытается опровергнуть аргументы, поставившие его к позорному столбу, и называет другие причины и других виновников. Картина усложняется. Центральную роль начинает играть доступ к средствам информации. Неуверенность внутри промышленного производства усиливается: никто не знает, кого в следующий раз предадут анафеме экологической морали. Условием делового успеха становятся убедительные или, по крайней мере, приемлемые для общественного мнения аргументы. Манипуляторы общественным мнением, «сколачиватели аргументов» получают свой производственный шанс.

Причинные цепи и непрерывный процесс нанесения ущерба

Необходимо еще раз подчеркнуть: все эти воздействия наступают совершенно независимо от того, насколько убедительными представляются предлагаемые причинные интерпретации с той или иной научной точки зрения. Часто даже внутри науки и соответствующих дисциплин мнения на сей счет сильно расходятся. *Социальное воздействие определений риска, таким образом, не зависит от их научной состоятельности.*

Многообразие интерпретаций имеет свое основание в самой логике модернизационных рисков. В конечном счете здесь предпринимается попытка поставить вредные воздействия во взаимосвязь с почти не поддающимися изолированному рассмотрению единичными факторами в комплексной системе индустриального способа производства. Системной взаимозависимости высокоспециализированных агентов модернизации в экономике, сельском хозяйстве, юриспруденции и политике соответствует отсутствие поддающихся изолированному рассмотрению единичных причин и ответственности. Заражает почву сельское хозяйство или же фермеры только самое слабое звено в цепи кругового процесса вредных взаимодействий? А может, они всего лишь несамостоятельные и подчиненные рынки сбыта для кормов и удобрений, которые производит химическая промышленность, и приложить усилия для предупредительного обеззараживания почвы нужно в этом направлении? Власти уже давно могли бы запретить или строго ограничить выпуск ядовитой продукции. Однако они этого не делают. Напротив, с благословения науки они непрерывно выдают охранные грамоты на производство «безопасных» ядовитых продуктов, которые все больше и больше действуют нам не на одни только нервы. Значит ли это, что собака

зарыта в джунглях властей, науки и политики? Но ведь в конце концов не они обрабатывают землю. Следовательно, виноваты крестьяне? Но они зажаты в тисках общего рынка, должны интенсивно вести хозяйство и в изобилии производить продукцию, чтобы в свою очередь выжить в сложившейся экономической ситуации...

Иными словами: высокодифференцированному разделению труда соответствует всеобщее соучастие в преступлении, а этому соучастию – всеобщая безответственность. Каждый является причиной *и* следствием и тем самым *не* является причиной. Причины растворяются во всеобщей взаимозависимости между агентами и условиями, реакциями и контрреакциями. Это придает идее системности социальную очевидность и популярность.

Отсюда совершенно ясно, в чем заключается биографическое значение идеи системности: *продолжительное время можно что-то делать, не неся персональной ответственности*. Люди как бы действуют в свое отсутствие. Они активны физически и пассивны морально и политически. Обобщенный Другой – система – действует через отдельного человека: в этом смысл рабской цивилизаторской морали, в рамках которой на общественном и индивидуальном уровне поступают так, будто все мы подчинены неотвратимой судьбе, «закону падения» системы. Так перед лицом надвигающейся экологической катастрофы мы сваливаем вину друг на друга.

*Содержание риска: еще не состоявшееся событие,
которое активизирует действие*

Риски не исчерпываются уже наступившими следствиями и нанесенным ущербом. В них находит выражение существенная компонента *будущего*. Она основывается частично на продлении обозримых в настоящее время вредных воздействий в будущее, частично на всеобщей утрате доверия или на предполагаемом «возрастании риска». Риски, таким образом, имеют дело с предвидением, с еще не наступившими, но надвигающимися разрушениями, которые сегодня реальны именно в этом значении. Вот пример из экспертного заключения по состоянию окружающей среды. Совет указывает на то, что высокие концентрации нитратов в азотных удобрениях до сих пор почти или вовсе не просачиваются в глубинные слои грунтовых вод, откуда мы берем питьевую воду. Они едва ли не полностью разлагаются в подпочвенном горизонте. Однако неизвестно, как долго это будет продолжаться. Много говорит за то, что фильтрующая способность защитного слоя может и не сохраниться в будущем. «Существует опасение, что нынешние нитратные смывы с соответствующим их продвижению опозданием, через годы или десятилетия, все же попадут и в более глубокие слои грунтовых вод» (с. 29). Другими словами: часовой механизм в бомбе отсчитывает время. В этом смысле риски предполагают будущее, приход которого стоит задержать.

В противоположность понятной очевидности богатств рискам присуще нечто *ирреальное*. В каком-то очень важном смысле они *реальны* и одновременно *нереальны*. С одной стороны, многие угрозы и разрушения уже реальны: загрязненные и умирающие воды, гибнущие леса, неизвестные ранее болезни и т.д. С другой стороны, социально направленная тяжесть аргументов риска приходится на *угрозы, ожидаемые в будущем*. Риски, которые возникнут потом, приведут к разрушениям такого масштаба, при котором практически все действия впоследствии будут бессмысленны. Следовательно, как предположение, как угроза в будущем, как прогноз риски имеют и развивают упреждающую релевантность действия. Центр сознания риска лежит не в настоящем, а в *будущем*. В обществе риска прошлое теряет способность определять настоящее. На его место выдвигается будущее как нечто несуществующее, как конструкт, фикция в качестве «причины» современных переживаний и поступков. Или мы будем активны сегодня, чтобы предусмотрительно уст-

ранить или смягчить проблемы и кризисы завтрашнего и послезавтрашнего дня, или потом у нас этой возможности не будет. При моделировании возможных ситуаций «прогнозируемые» узкие места на рынке труда оказывают обратное воздействие на отношение к получению образования; предполагаемая угроза безработицы – существенная детерминанта современной жизни и самоощущения человека в ней; прогнозируемое разрушение окружающей среды и атомная угроза внушают обществу тревогу и способны лишить работы значительную часть подрастающего поколения. В спорах о будущем мы, следовательно, имеем дело с «проектируемой переменной», с «предсказываемой причиной» индивидуального и политического поведения, релевантность и значение которой возрастают прямо пропорционально содержащейся в ней угрозе и тому обстоятельству, что она не поддается расчету; мы моделируем ее (должны это делать), чтобы наметить и организовать наши сегодняшние действия.

Легитимация: «латентные побочные воздействия»

Это, однако, предполагает, что риски успешно пройдут процесс социального признания. Но вначале риски представляются чем-то, чего следует избегать, *их несуществование допускается вплоть до отмены* – по принципу: «in dubio pro progress», в случае сомнения – за прогресс, а это значит: «в случае сомнения закрывай глаза». С этим связан способ легитимации, узаконения, резко отличающийся от неравенства в распределении общественных благ. Риски можно узаконивать таким образом, что их *нежелательное* производство будут *не замечать*. Ситуации риска в техногенной цивилизации должны прорываться сквозь раздающиеся вокруг них призывы к табуизации и «возникать в научном обличье». Чаще всего подобное происходит в статусе «латентного побочного воздействия», который признает реальность угрозы и одновременно узаконивает ее. Невозможно предотвратить то, чего не хотят замечать, риски возникают в процессе производства, они – неожиданно появляющиеся дети, признание которых требует дополнительного обсуждения. Мыслительная схема «латентного побочного воздействия» выступает своего рода охранной грамотой, *естественной судьбой* цивилизации, которая признает неизбежность последствий, но одновременно избирательно распределяет и оправдывает их.

3. Специфически классовые риски

Способы, образцы и коммуникативные средства распределения рисков кардинально отличаются от способов, образцов и средств распределения богатств. Это не исключает того, что многие риски распределяются в соответствии со *спецификой* общественных прослоек или классов. В этом плане существуют широкие промежуточные зоны между классовым обществом и обществом риска. История распределения рисков показывает, что риски, как и богатства, распределяются по классовой схеме, только в обратном порядке: богатства сосредоточиваются в верхних слоях, риски в нижних. По всей видимости, риски не упраздняют, а *усиливают* классовое общество. К дефициту снабжения добавляется чувство неуверенности и избыток опасностей. Напротив, те, кто имеет высокие доходы, власть и образование, могут *купить* себе безопасность и свободу от риска. Этот «закон» специфически классового распределения рисков и тем самым обострения классовых противоречий из-за концентрации рисков на стороне бедных и слабых долгое время считался и считается до сих пор одним из центральных измерений риска: сегодня риск остаться безработным для неквалифицированных рабочих значительно выше, чем для работников высокой квалификации. Риск перегрузки, облучения и отравления, связанный с работой в соответствующих отраслях промышленности, распределяется для работников разных профессий неравномерно. Группы населения, живущие вблизи промышленных цен-

тров, подвергаются длительному воздействию различных вредных веществ, находящихся в воздухе, воде или почве. Угроза потерять рабочее место вынуждает людей к большей терпимости.

Но классово обусловленная ущемленность возникает не только благодаря этому социальному фильтрующему и усиливающему воздействию. Возможность и способность избегать опасных ситуаций, обходить и компенсировать их тоже неодинакова у слоев с разными доходами и разным уровнем образования: кто располагает большими финансовыми возможностями, тот может попытаться избежать риска благодаря выбору места жительства, обустройства квартиры (или благодаря домику в деревне, отпуску и т.д.). То же самое можно сказать о питании, образовании и соответствующем отношении к еде и информации. Туго набитый кошелек позволяет кушать яйца «экологически безопасных курочек» и салат с «экологически безопасных грядок». Образование и внимательное отношение к информации открывают новые возможности обхождения с рисками. Можно не употреблять определенные продукты (например, старую говяжью печень с высоким содержанием свинца) и благодаря научно обоснованному режиму питания так варьировать еженедельное меню, чтобы тяжелые металлы в рыбе из Северного моря можно было растворять, дополнять, обезвреживать (или, может быть, делать еще вреднее?) Приготовление и употребление пищи превращается в своего рода *имплицитную химию продуктов питания*, в нечто вроде кухни ядов, с претензией на минимализацию опасности, при этом, чтобы сыграть с перепроизводством вредных и ядовитых веществ в химии и сельском хозяйстве в приватную «технологическую игру», требуются очень глубокие знания. Вместе с тем весьма вероятно, что реакция на отравления, о которых сообщают прессы и телевидение, приводит к выработке «антихимических» привычек питания и жизни. Эта повседневная «антихимия» часто распространяемая среди покупателей рекомендациями на упаковках филиалами самой же химической промышленности) приведет и уже привела в образованных и состоятельных слоях населения, осознающих важность режима питания, к глубоким изменениям во всех сферах обеспечения – от пищи до условий жизни, от болезни до использования досуга. Отсюда можно было бы сделать общий вывод, что благодаря такому обдуманному подходу к рискам в финансово обеспеченных слоях населения старое социальное неравенство закрепляется на новом уровне. Однако такой вывод не *затронет* ядро логики распределения рисков.

Параллельно с обострением ситуаций риска сужаются приватные пути спасения и возможности компенсации; в то же время их усиленно пропагандируют. Повышение риска, невозможность его избежать, политическая воздержанность, провозглашение и продажа частных возможностей уклонения от рисков взаимно обусловлены. Для *некоторых* продуктов питания эти частные окольные пути могут быть полезны; но уже при водоснабжении все социальные слои зависят от одной и той же трубы; и уж при виде «лесов-скелетов» в далеких от промышленных центров «сельских идиллиях» становится ясно, что перед содержанием ядовитых веществ в воздухе, которым мы все дышим, падают все классово обусловленные барьеры. Действительно эффективная защита в этих условиях может быть достигнута только в том случае, если *не* есть, *не* пить и *не* дышать. Но и это поможет только относительно. Известно же, что происходит с камнями и трупами в земле.

4. Глобализация цивилизованных рисков.

Выражаясь короче: *нужда иерархична, смог демократичен*. Вместе с экспансией модернизационных рисков - с угрозой природе, здоровью, питанию - социальные различия и границы становятся относительными. Отсюда все еще делают очень

разные выводы. *Объективно* риски все же вызывают в пределах их досягаемости и среди попавших под их влияние *уравнительный* эффект. Именно в этом и заключается их своеобразная политическая сила. И этом смысле общества риска не классовые общества; возникающие в них опасные ситуации не могут восприниматься как ситуации классовые, их противоречия _ не классовые противоречия.

Это становится еще яснее, если иметь в виду особый покррой, особый образец распределения модернизационных рисков: им свойственна *имманентная тенденция к глобализации*. Вместе с промышленным производством идет процесс универсализации угроз, вне зависимости от того, где эти угрозы возникают: цепи продуктов питания связывают на земле практически каждого с каждым. Они не признают границ. Содержание кислот в воздухе разрушает не только скульптуры и сокровища искусства, оно уже давно упразднило современные таможенные барьеры. Озера в Канаде тоже содержат кислоту, на северных оконечностях Скандинавии тоже умирают леса.

Эта тенденция к глобализации порождает проблемы, опять—таки не специфические в их всеобщности. Когда все вокруг грозит опасностью, тогда уже как бы не существует никакой опасности. Когда больше нет спасения, можно об этом больше не думать. Экологический фатализм конца света позволяет маятнику частных и политических настроений качаться в *любом* направлении. Действовать так или иначе надо было еще вчера. Быть может, с распространившимися повсеместно пестицидами можно справиться с помощью насекомых? Или брызг шампанского?

Эффект бумеранга

Глобализация содержит в себе образец распределения рисков, не совпадающего с ней самой, распределения, в котором таится значительная взрывная политическая сила. Риски раньше или позже достигают и тех, кто их производит или извлекает из них выгоду. Риски, распространяясь, несут в себе социальный *эффект бумеранга*: имеющие богатство и власть тоже от них не застрахованы. Скрытые до поры до времени «побочные воздействия» начинают поражать и центры их производства. Агенты модернизации сами основательно и очень конкретно попадают в водоворот опасностей, которые они же породили и из которых извлекали выгоду. Это происходит в самых разных формах.

Обратимся еще раз к сельскому хозяйству. В период с 1951 по 1983 годы расход удобрений вырос с 143 до 378 кг на гектар, а расход сельскохозяйственных химикатов с 1975 по 1983 годы вырос в ФРГ с 25 тысяч до 35 тысяч тонн. Урожайность тоже повышалась, но не так быстро, как расход удобрений и пестицидов. Урожайность зерновых удвоилась, урожайность картофеля поднялась на 20%. Непропорционально малое повышение урожайности относительно применения удобрений и химикатов сопровождается непропорционально высоким ростом наносимого природе ущерба, что видят и болезненно ощущают сами крестьяне. Бросающаяся в глаза примета этого опасного развития – значительное сокращение многих видов растений и животных. «Красные списки», фиксирующие в качестве «официальных свидетельств о смерти» угрозу существованию растительного и животного мира, становятся все длиннее. «Из 680 видов луговых растений в опасности находятся 519. Стремительно сокращается количество обитающих на лугах птиц, таких, как белый аист, кроншнеп или чекан луговой; в Баварии, например, последние популяции этих птиц пытаются спасти с помощью специальных «луговых» программ... Пострадали животные, которые выводят птенцов на земле, важнейшие звенья пищевых цепей – хищные птицы, совы, стрекозы, а также представители животного мира, питающиеся все реже встречающейся в природе пищей, например, большими насекомыми, или же нуждающиеся в течение всего вегетационного периода в цветочном нектаре» (Gutachten, S.20). Ранее «незаметные побочные воздействия» превращаются, следовательно, в основ-

ные воздействия, которые наносят ущерб даже породившим их производственным центрам. Производство модернизационных рисков сродни *траектории бумеранга*. Интенсивное сельское хозяйство, поддержанное миллиардными инвестициями, не только драматическим образом повышает в отдаленных городах содержание свинца в материнском молоке и у детей. Разными способами оно подрывает и природный базис самого сельскохозяйственного производства: разрушается плодородный слой почвы, исчезают жизненно необходимые животные и растения, нарастает угроза эрозии почвы.

Этот кругообразный социальный эффект риска можно обобщить: модернизационные опасности раньше или позже приводят к *единству преступника и жертвы*. В худшем, не представимом случае – при атомном взрыве – очевидно, что он уничтожает и нападающего. Становится ясно, что земля превратилась в пусковую площадку, не признающую различий между богатыми и бедными, белыми и черными, Югом и Севером, Востоком и Западом. Но эффект проявляется только тогда, когда он возникает, а когда он возникает, то тут же и исчезает, ибо исчезает все вокруг. Эта апокалипсическая угроза не оставляет видимых следов в *момент* самой угрозы (см.: Guenther Anders, 1983). По-другому обстоит дело с экологическим кризисом. Он подрывает естественные и экономические основы сельского хозяйства и тем самым снабжение населения в целом. Здесь проявляются воздействия, которые наносят урон не только природе, но и кошелькам богачей, здоровью власть имущих. Из сведущих уст раздаются пронзительные апокалипсические предостережения, которые нельзя делить по принципу партийно-политической принадлежности.

Экологическое обесценение и отчуждение

Эффект бумеранга, таким образом, проявляется не только в непосредственной угрозе жизни, он дает о себе знать и в сфере денег, собственности, узаконения. Он обрушивается не только на непосредственного виновника. Обладая обобщающим и уравнивающим свойством, он вынуждает страдать всех: из-за умирания лесов не только исчезают целые виды птиц, но и снижается экономическая ценность лесных и земельных угодий. Там, где строится или планируется атомная (или работающая на каменном угле) электростанция, падают цены на земельные участки. Городские и промышленные районы, автобаны и основные автомобильные магистрали наносят ущерб ближайшим окрестностям. Даже если еще не доказано, по этой ли причине уже сегодня 7% федеральных земель настолько обременены (или будут обременены в обозримом будущем), что на них без угрызений совести нельзя заниматься никаким сельскохозяйственным производством, принцип остается неизменным: собственность обесценивается, медленно *«экологически отчуждается»*.

Это воздействие поддается обобщению. Разрушение природы и окружающей среды, нанесение им ущерба, сообщения о содержании ядовитых веществ в продуктах питания и предметах повседневного обихода, грозящие или, тем более, уже произошедшие аварии на химических предприятиях или ядерных реакторах действуют как ползучее или галопирующее обесценение и отчуждение прав собственности. Из-за ничем не сдерживаемого производства модернизационных рисков будет и впредь – последовательно или рывками, иногда в форме катастрофических обострений – проводиться *политика необитаемой земли*. То, что отвергалось, как «коммунистическая опасность», происходит в результате наших собственных действий в другой форме – окольными путями заражения природы. Независимо от местоположения идеологического противостояния на арене рыночной борьбы каждый против каждого проводит политику «выжженной земли» – с решающим, но редко долговременным успехом. То, что заражено или считается зараженным – с точки зрения социальных и экономических ценностей это едва ли существенно, – может принадлежать тому, кому при-

надлежит, или любому желающему это приобрести. При сохранении правовых норм собственности все это становится бесполезным или не имеющим ценности. Таким образом, в случае с «экологическим отчуждением» мы имеем дело с *социальным и экономическим отчуждением* при сохраняющемся праве на владение. К продуктам питания это относится в той же мере, как и к воздуху, почве и воде. Это касается всего, что в них живет, но прежде всего тех, кто живет *тем*, что в них живет. Разговоры о «квартирных ядах» показывают: все, что составляет нашу цивилизованную повседневность, может быть втянуто в этот процесс.

Главный вывод из сказанного предельно прост: все, что угрожает жизни на этой земле, угрожает тем самым интересам собственности тех, кто живет торговлей и *превращением* в товар продуктов питания и самой жизни. Таким образом возникает глубокое, систематически обостряющееся *противоречие* между желанием получить прибыль и интересами собственности, которые двигают процесс индустриализации, с одной стороны, и многообразными грозными последствиями этого процесса, наносящими ущерб прибыли и собственности (не говоря уже об ущербе самой жизни), с другой.

При аварии на атомном реакторе или химическом предприятии в эпоху высокого развития цивилизации на карте земли снова возникают «белые пятна» – памятники тому, что несет в себе угрозу. Выбросы ядовитых веществ, неожиданно обнаруженные скопления ядовитых веществ на свалках превращают жилые селения в «отравленные», а земельные участки в пустыри, непригодные для использования. Вдобавок к тому имеются еще и многообразные предварительные стадии и ползучие формы. Рыба из зараженных морей несет угрозу не только людям, употребляющим ее в пищу, но и многим из тех, кто *живет* ловлей и переработкой рыбы. При опасности смога *на время* замирает жизнь страны. Целые промышленные районы превращаются в города-призраки. Эффект бумеранга требует, чтобы остановились промышленные предприятия, породившие смог. И не только они. *Смогу нет дела до принципа виновности*. Он уравнивает и поражает всех, независимо от степени участия в его производстве. Рекламе курортов для легочных больных смог, конечно же, тоже не способствует, он отпугивает клиентов. Если бы информация об опасном уровне загрязнения воздуха (а также воды) была бы закреплена законом, она могла бы очень скоро сделать курортные управления и индустрию отдыха решительными сторонниками эффективной политики борьбы с вредными воздействиями на природу.

Ситуации риска – это не классовые ситуации

Таким образом, вместе с генерализацией модернизационных рисков освобождается динамика, которую уже нельзя постичь и осмыслить в классовых категориях. Владение включает в себе не-владение и тем самым предполагает социальную напряженность и конфликты, в которых на протяжении длительного времени возникают и закрепляются взаимные социальные идентичности – «те там наверху, мы здесь внизу». Совершенно по-иному складывается ситуация при угрозе риска. Кто попал в зону риска, тому приходится туго, но он ничего не отнимает у тех, кому повезло больше. Подверженность и неподверженность риску не распределяется по полюсам, как богатство и бедность. Пользуясь этой аналогией, можно сказать, что «классу» подверженных риску не противостоит «класс» неподверженных. Галопирующая плата за здоровый образ жизни уже завтра загонит «богатых» (в смысле здоровья и самочувствия) в очередь к больничным кассам, а послезавтра в разряд париев – инвалидов и увечных. Беспомощность властей перед лицом выбросов отравляющих веществ и скандалов с ядовитыми свалками, а также лавина периодически возникающих правовых, компетентных и компенсационных вопросов говорят сами за себя. Это значит, что свобода от риска обернется завтра необратимой подверженностью им. Конфликты, связанные с модернизационными рисками, возникают по причинам системного характера, которые совпадают с движущей силой прогресса и прибыли. Они соотносены с размахом и распространением опасностей и возникающих вследствие этого притязаний на возмещение и/или на принципиальную смену курса. Речь в них идет о том, будем ли мы и дальше хищнически относиться к природе (включая нашу собственную, человеческую) и, следовательно, о том, все ли в порядке с нашими понятиями «прогресса», «благополучия», «экономического роста», «научной рациональности» и т.д. В этом смысле вспыхивающие у нас конфликты принимают характер цивилизационной борьбы за правильный путь в будущее. Во многом они напоминают скорее религиозные войны средневековья, чем классовые конфликты XIX и начала XX века.

Индустриальные риски и разрушения не останавливаются перед государственными границами. Они связывают жизнь травинки в баварском лесу с действенным соглашением о международной борьбе с вредными воздействиями. Отдельно взятой нации нечего делать с наднациональным распространением вредных веществ. Промышленно развитые страны отныне должны делать различие между «национальными балансами впуска и выпуска». Говоря яснее, нужно различать страны, загрязняющие окружающую среду, и страны, вынужденные расхлебывать, вдыхать эту грязь и расплачиваться повышенной смертностью, экологическим отчуждением и обесценением. Это отличие и лежащий в его основе конфликтный материал должны будут вскоре учитывать и «братские страны социалистического сообщества».

Ситуация риска как опасная судьба

Наднациональной неуловимости модернизационных рисков соответствует способ их распространения. Их невидимость практически не дает потребителям возможности выбора. Они – «продукты, которые носят на спине», их проглатывают и вдыхают *вместе* с другими продуктами. Они – «безбилетные пассажиры» *нормального потребления*. Они путешествуют с ветром и водой. Они таятся в каждом предмете и в каждом человеке, они минуют все обычно очень строго контролируемые охранные зоны модерна с самым необходимым для жизни – с воздухом, которым мы дышим, с пищей, одеждой, предметами домашней обстановки и т.п. В отличие от богатства, которое притягивает, но может и отталкивать, в отношении которого всегда необходим и возможен выбор, риск и вредные воздействия прокрадываются повсюду

имплицитно, не признавая свободного (!) выбора. В этом плане они открывают возможность для возникновения новой предопределенности, своего рода «цивилизационной аскриптивности» риска. В известном смысле это напоминает борьбу сословий в средние века. Сегодня можно говорить о *сопряженной с риском судьбе человека в эпоху развитой цивилизации*, с этой судьбой рождаются, от нее невозможно избавиться никакими усилиями, в отличие от Средних веков, *все* мы в одинаковой степени предоставлены этой судьбе («маленькая разница», но воздействие ее огромно).

В эпоху развитой цивилизации, которая пришла, чтобы снять предопределенность, дать людям свободу выбора, избавить их от зависимости от природы, возникает новая глобальная, охватывающая весь мир зависимость от рисков, перед лицом которой индивидуальные возможности выбора не имеют силы хотя бы уже потому, что вредные и ядовитые вещества в индустриальном мире вплетены в элементарный процесс жизни. Ощущение этой лишенной выбора подверженности риску делает понятным шок, бессильную ярость и чувство «no-future», жизни без будущего, с которым многие противоречиво, но не без пользы для себя реагируют на новейшие достижения технической цивилизации. Можно ли вообще критически относиться к тому, чего нельзя избежать? Нужно ли отказываться от критической дистанции только потому, что этого нельзя избежать, и идти в неизбежное с насмешкой или цинизмом, с равнодушием или ликованием?

Новое международное неравенство

Охватившее весь мир равномерное распространение опасных ситуаций не должно, однако, скрывать социальное неравенство *внутри* зон, подверженных риску. Оно возникает в первую очередь там, где – тоже в международном масштабе – классовые ситуации и ситуации риска *наслаиваются* друг на друга. Пролетариат всемирного общества риска селится рядом с дымовыми трубами, нефтеперегонными заводами и химическими фабриками в индустриальных центрах третьего мира. «Крупнейшая промышленная катастрофа в истории» (*Der Spiegel*), авария в индийском Бхопале довела это до сознания мировой общественности. Сопряженные с риском производства выводятся в страны с дешевой рабочей силой. Это не случайно. Существует постоянное взаимное «притяжение» между крайней бедностью и крайним риском. На сортировочной станции по распределению рисков особым предпочтением пользуются «слаборазвитые провинциальные захолустья». И только наивный глупец может думать, что облеченные ответственностью стрелочники не ведают, что творят. Об этом свидетельствует и «более высокая занятость» безработного населения провинций по сравнению с «новыми» технологиями, создающими рабочие места.

Материальная нужда идет рука об руку с пренебрежением риском – это особенно хорошо видно в международном масштабе. «О беспечном обращении с пестицидами, например, в Шри-Ланке немецкий эксперт по третьему миру сообщает: «ДДТ там разбрасывают руками, люди покрыты белой пылью». На антильском острове Тринидад (1,2 миллиона жителей) в 1983 году отмечено 120 смертельных случаев отравления пестицидами. «Когда после опрыскивания не чувствуешь себя больным, значит, опрыскивал недостаточно, говорит один фермер» (*Der Spiegel*, Nr. 50/1984, S.119). Для этих людей престижными символами успеха являются комплексные сооружения химических фабрик с их внушительными трубами и резервуарами. Таящаяся в них смертельная угроза остается невидимой. Удобрения, средства для уничтожения насекомых и сорняков, которые производят эти фабрики, воспринимаются прежде всего как знаки освобождения от материальной нужды. Они – предпосылки «зеленой революции», которая – пользуясь постоянной поддержкой индустриально развитых западных государств – подняла в прошедшие годы производство продуктов питания на 30%, а в некоторых странах Азии и Африки даже на 40%. Перед лицом этих очевидных успехов на задний план отступает то, что при

40%. Перед лицом этих очевидных успехов на задний план отступает то, что при этом ежегодно на хлопковые и рисовые поля, табачные и овощные плантации распыляются... многие сотни тысяч тонн пестицидов» (там же, с. 110). В конкуренции между явной угрозой голодной смерти и невидимой смертельной угрозой отравления ядами побеждает необходимость борьбы с материальной нуждой. *Без* массового применения химикатов снизилась бы урожайность полей, свою долю сожрали бы насекомые и плесень. *С помощью* химии бедные периферийные страны могут создавать собственные запасы продовольствия и обретать хоть какую-то независимость от мощных метрополий индустриального мира. Химические фабрики на их территории усиливают ощущение независимости от дорогого импорта. Борьба с голодом и за автономию создает защитный заслон, за которым вытесняется, преуменьшается серьезность и без того не воспринимаемых органами чувств опасностей; *тем самым*, накапливаясь и распространяясь, они в конце концов через пищевые цепи возвращаются в богатые промышленные страны.

Защитные, гарантирующие безопасность предписания разработаны недостаточно, а там, где они существуют, они остаются на бумаге. «Промышленная наивность» сельского населения, часто не умеющего ни читать, ни писать, не говоря уже о приобретении защитной одежды, открывает перед менеджментом огромные, в развитых странах давно утерянные возможности узаконенного обращения с рисками: можно издавать предписания и настаивать на их выполнении, зная, что их претворение в жизни все равно нереально. Таким образом, сохраняется «незапятнанная репутация» и можно с чистой совестью и материальной выгодой свалить ответственность за аварии и смертельные случаи на невежество и бескультурье населения. Когда случаются аварии, всеобщая неразбериха в сфере компетенций и интересы бедных стран открывают широкие возможности для политики сокрытия истины и принижения серьезности опустошительных воздействий. Выгодные, свободные от законодательных ограничений условия производства как магнитом притягивают промышленные концерны и сопрягаются с собственными интересами стран в преодолении материальной нужды, а также достижении государственной автономии, образуя в полном смысле слова взрывоопасную смесь: *дьявола голода пытаются победить с помощью Вельзевула накопления рисков*. Особо опасные производства выводятся на периферию бедных стран. К бедности третьего мира добавляется ужас перед раскрепощенными разрушительными силами развитой индустрии, чреватой риском. Снимки и сообщения из Бхопала и Латинской Америки говорят сами за себя.

Вилла Паризи

«Самое грязное химическое производство в мире находится в Бразилии. Обитатели трущоб ежегодно должны менять жестяные крыши своих лачуг, так как их разъедают кислотные дожди. Кто долго живет в них, наживает волдыри, «крокодилюю кожу», как говорят бразильцы.

Хуже всего приходится обитателям Вилла Паризи, трущоб с населением в 15 тысяч человек, большинство из которых построило себе скромные домики из серого камня. Газовые маски здесь уже продаются в супермаркетах. У большинства детей астма, бронхит, болезни горла и носа, сыпь на коже.

В Вилла Паризи легко ориентироваться по запаху. На одном краю клокочет открытая клоака, на другом течет ручей зеленоватой клейкой жидкости. Запах, похожий на то, как пахнут жженые куриные перья, говорит о близости сталелитейного завода, запах гнилых яиц – о близости химической фабрики.

Прибор для измерения выбросов вредных веществ, установленный властями, отказал в 1977 году, прослужив всего полтора года. Судя по всему, уровень загрязнения оказался ему не по плечу.

История самого грязного поселка в мире началась в 1954 году, когда бразильская нефтяная фирма Пегропрас выбрала заболоченную окраину местом для своего нефтеперегонного завода. Вскоре здесь появился крупнейший сталелитейный концерн Косипа, к нему присоединились американо-бразильский концерн по производству удобрений, мультинациональные концерны Фиат, Дау Кемикл и Юниен Карпид. Это был период бума бразильского капитализма. Военное правительство пригласи-

ло зарубежных предпринимателей производить у себя вредные для окружающей среды продукты. «Бразилия еще может импортировать загрязнение», – хвастался в 1972 году министр планирования Пауло Вельоза. Это был год проведения в Стокгольме конференции по защите окружающей среды. «Единственное, что угрожает экологии Бразилии, – говорил он, – это бедность».

Основной причиной болезней являются недоедание, алкоголь и сигареты, говорит представитель фирмы Пегропрас. «Люди приходят к нам из Копатао уже больными, – вторит ему Пауло Фугейредо, шеф Юниен Капид, – и если болезнь усугубляется, они обвиняют в этом нас. Это просто лишено логики». Губернатор Сан Паулдо уже два года пытается внести свежую струю в зачумленный Копатао. Он ввел в вяло работающую природоохранную службу 13 новых сотрудников, установил компьютерное наблюдение за выбросами в атмосферу. Но ничтожно малые штрафы в несколько тысяч долларов отравителям природы не помеха.

Катастрофа произошла 25 февраля этого года. Из-за небрежности в работе фирмы Пегропрас в болото, на котором стоят свайные постройки Вилла Соко, вылилось 700 тысяч литров нефти. В течение двух минут над фавелой пронесся огненный смерч. В огне погибло более 500 человек. Трупов маленьких детей не обнаружили. «В этой жаре они просто сгорели дотла», – утверждает бразильский чиновник» (DER SPIEGEL, Nr. 50/1984, S.110).

Бхопал

«Птицы падали с неба. Индийские водяные буйволы валились замертво на улицах и полях и спустя несколько часов вздувались от центрально-азиатской жары. И повсюду умершие от удушья люди, с пеной у рта, с судорожно сжатыми руками вцепились в землю. В конце прошлой недели их было три тысячи, и количество жертв растет, власти сбились со счета. Около двадцати тысяч человек, по всей вероятности, ослепнут. В городе Бхопал в ночь с воскресенья на понедельник произошел имеющий аналог в истории индустриальный апокалипсис. На одной из химических фабрик произошла утечка газа, ядовитое облако точно саваном покрыло густонаселенный район площадью в шестьдесят пять квадратных километров. Когда оно наконец рассеялось, вокруг распространился сладковатый запах разложения. Город превратился в поле сражения, хотя не было никакой войны. Индусы сжигали мертвецов на кострах, по двадцать пять человек сразу. Скоро стало не хватать дров для ритуальной кремации – тогда трупы стали обливать керосином и поджигать. На мусульманском кладбище оказалось мало места, пришлось вскрывать старые могилы, нарушая священные заповеди ислама. «Я знаю, – жалуется один из могильщиков, – грех класть в одну могилу двух человек. Аллах да простит нас – мы хоронили в одной могиле трех, четырех и больше» (там же, с. 108 и сл.).

В отличие от бедности, вызванное рисками обнищание третьего мира не щадит и богатых. Нарастание рисков сужает мировое сообщество до размеров подверженной опасностям общины. Эффект бумеранга затрагивает в первую очередь те богатые страны, которые избавились от чреватых рисками производств, но продолжают с выгодой для себя импортировать продукты питания. С фруктами, бобами, какао, кормом для скота, чайными листьями и т.д. пестициды возвращаются на свою высокоиндустриализированную родину. Крайнее неравенство мирового сообщества и экономическая интеграция сближают бедные кварталы в периферийных странах с богатыми жилищами в индустриальных центрах. Эти кварталы становятся источниками заражения, которое – подобно заразным болезням бедняков, возникавшим в тесноте средневековых городов, – не обходит стороной и комфортабельные места обитания богачей.

5. Две эпохи, две культуры: о соотношении восприятия и производства рисков

Неравенство классового общества и неравенство общества риска могут, следовательно, наслаиваться, обуславливать друг друга, одно может порождать другое. Неравномерное распределение общественного богатства представляет практически неустранимые лазейки и оправдания для производства рисков. При этом необходимо строго различать между культурным и политическим *вниманием* к проблеме и *действительным* распространением рисков.

Классовые общества суть такие общества, в которых, если не считать классовых перегородок, главное заключается в удовлетворении материальных потребно-

стей. В них голод противостоит изобилию, власть – бессилию. Нужда не требует доказательств. Она существует – и все тут. Ее непосредственности и очевидности соответствует материальное наличие богатства и власти. В этом смысле не вызывающие сомнения данности классового общества суть данности *видимой* культуры: костлявый голод контрастирует с заплывшей жиром сытостью, дворцы с хижинами, роскошь с лохмотьями.

В обществе риска эти явные очевидности уже не действуют. Видимое оказывается в тени невидимых опасностей. То, что не воспринимается органами чувств, больше не совпадает с нереальным, даже если оно обладает повышенным уровнем опасности. Непосредственная опасность конкурирует с сознаваемым содержанием риска. Мир видимой нужды или видимого изобилия оттесняется на задний план подавляющим превосходством риска.

Невидимые риски не могут выиграть состязание с воспринимаемым органами чувств богатством. Видимое не может соревноваться с невидимым. Парадокс в том, что именно *поэтому* невидимые риски берут верх.

Игнорирование и без того невидимых рисков, которое ищет – и действительно находит (см. ситуацию в третьем мире) – все новые и новые оправдания в устранении бросающейся в глаза бедности, и есть та политическая и культурная почва, на которой *произрастают и процветают* риски и опасные ситуации. Во взаимном наложении и конкуренции проблемных ситуаций классового, индустриального и рыночного общества с одной стороны и ситуаций общества риска, с другой, побеждает в сложившихся условиях и масштабах релевантности логика производства богатства – и именно *поэтому в конце концов побеждает общество риска*. Очевидность нищеты вытесняет восприятие рисков; но только восприятие, а не их наличие и воздействие: риски, которых не хотят замечать, растут особенно хорошо и быстро. На определенной ступени общественного производства, характеризуемой развитием химической промышленности, а также технологии строительства реакторов, микроэлектроники, геномной инженерии, преобладание логики и конфликтов производства богатства, а также социальная неосязаемость общества риска не являются доказательством его нереальности, наоборот, они являются движущей силой, ведущей к возникновению этого общества, и, следовательно, доказательством его реальности.

Об этом свидетельствует наложение и обострение классовых ситуаций и ситуаций риска в третьем мире; но не в меньшей мере также образ мыслей и действий в богатых индустриальных странах, где главным приоритетом пользуется неуклонная поддержка экономического подъема и роста. Чтобы четко не определять верхних границ выброса вредных веществ и ослабить контроль за ними или вообще не исследовать (не искать) наличие вредных веществ в продуктах питания, грозят сокращением рабочих мест. В интересах производства не подвергаются изучению (не регистрируются) целые группы ядовитых веществ; они как бы не существуют и поэтому могут свободно распространяться. При этом замалчивается, что борьба с загрязнением окружающей среды уже сама стала процветающей отраслью промышленности, которая многим миллионам людей в ФРГ гарантирует надежные (даже слишком надежные) рабочие места.

Одновременно оттачиваются инструменты *определяющего* «подавления» рисков и раздаются угрозы в адрес тех, кто риски не скрывает; на них клеветают, обзывают «нытиками» и производителями рисков. Их трактовку рисков считают «бездоказательной», а воздействие на человека и природу – «чрезмерно преувеличенным». Чтобы знать, что происходит, и принять соответствующие меры, необходимо, мол, больше заниматься исследованиями. Только быстро растущий социальный продукт может создать условия для совершенствования охраны окружающей среды. Надо, говорят эти люди, доверять науке и результатам исследований. До сих пор наука находила решение всех проблем. Критику науки и тревогу за будущее клеймят как

«иррационализм». Они-де и есть истинная причина всех бед. Риск – неотъемлемая принадлежность прогресса, как волна, поднимаемая носом отправившегося в дальнее плавание корабля. Риск – не изобретение новейшего времени. К нему терпимо относятся во многих областях общественной жизни. Взять, к примеру, смертность в автокатастрофах. От нее каждый год, так сказать, бесследно исчезает средний немецкий город. Но даже к этому привыкли. До всего этого еще далеко авариям на химических фабриках и маленьким (а если иметь в виду надежную немецкую технологию, то и вовсе невероятным) катастрофам с радиоактивными материалами, хранением отходов и т.д.

Преобладание подобных толкований не может скрыть их несостоятельности. Их победа – это Пиррова победа. Там, где это преобладание наличествует, оно производит то, что отрицает: опасные ситуации общества риска. Утешаться тут нечем, ибо угроза нарастает.

6. Утопия мирового сообщества

Именно благодаря отрицанию и невосприятию рисков возникает *объективная общность* глобальной опасности. За многообразием интересов угрожающе возрастает реальность риска, который уже не признает социальных и национальных различий и границ. За стеной равнодушия быстро растет опасность. Это, разумеется, не означает, что перед лицом растущих цивилизационных рисков возникнет великая гармония. Именно в обращении с рисками возникают новые разнообразные социальные дифференциации и конфликты. Они уже не придерживаются схемы классового общества. Они рождаются прежде всего из двойного обличья рисков в развитом рыночном обществе: риски здесь не только риски, но и *рыночные шансы*. Вместе с развитием общества риска нарастают и противоречия между теми, кто *подвержен* рискам, и теми, кто извлекает из них выгоду. В той же мере растет социальное и политическое значение знания, а вместе с тем и власть над коммуникативными средствами для получения знаний (наука) и их распространения (средства массовой информации). В этом смысле общество риска – это общество *науки, коммуникативных и информационных средств*. В нем обнаруживаются новые противоречия между теми, кто *производит* риски, и теми, кто их *потребляет*.

Эта напряженность между устранением риска и бизнесом, производством и потреблением дефиниций риска пронизывает все сферы деятельности общества. Здесь надо искать главные источники борьбы за то, как *определить масштаб, степень и неотложность риска*.

То, как экспансивный рынок разделяется с рисками, способствует попеременному затуманиванию и прояснению ситуации с рисками, а в результате уже никто не знает, в чем заключается проблема и где искать ее решение, кто из чего извлекает выгоду, где обнаруживаются предполагаемые виновники, а где маскируются, и вообще не являются ли все эти разговоры о рисках выражением сознательно искаженной политической драматургии, которая в действительности имеет целью нечто совсем другое.

Однако риски, в отличие от богатств, распределяются по полюсам *всегда только частично*, а именно со стороны преимуществ, которые ими *тоже* создаются, и на более низком уровне их проявления. Как только опасность оказывается в поле зрения и начинает нарастать, преимущества и различия исчезают. Риски раньше или позже приносят с собой угрозы, которые ставят под сомнение прежние преимущества, а когда опасность пронизывает все многообразие интересов, становится явью и всеобщность риска. Как только под «крышей» затронутых риском – неважно, в какой степени – вопреки всем противоречиям возникает общий интерес, представители

разных классов, партий, профессиональных и возрастных групп объединяются в гражданские инициативы, чтобы противодействовать угрозе атомного облучения, отравления ядовитыми отходами или чтобы встать на пути очевидного нанесения ущерба природе.

В этом смысле общество риска порождает новые противоречия и новые, вызванные возникшей опасностью, общности, политическая устойчивость которых еще не до конца ясна. По мере того, как обостряются и приобретают всеобщий характер модернизационные риски, стирая с карты земли еще не охваченные опасностью зоны, общество риска (в отличие от классового общества) порождает тенденцию к объективной унификации опасностей в глобальном масштабе. В конечном итоге нарастающему давлению цивилизационных рисков оказываются подвержены друг и враг, Восток и Запад, верх и низ, город и деревня, черные и белые, Юг и Север. Общества риска – не классовые общества, но этого мало. Они несут в себе *взрывающую границы, базисную демократическую динамику развития*, посредством которой человечество загоняется в унифицированную ситуацию цивилизационного саморазрушения.

В этом отношении общество риска располагает новыми источниками конфликтов и соглашений. Место *устранения дефицита занимает ликвидация риска*. Даже если для этого еще не созрело сознание и не сложились политические организационные формы, можно утверждать, что общество риска с его динамикой нарастания опасности подрывает устойчивость *национально-государственных границ, а также границ межгосударственных союзов и экономических блоков*. В то время как классовые общества поддаются организации в национальные государства, общества риска порождают общности на основе объективно существующей опасности; развитие этих общностей может быть приостановлено только в рамках всего мирового сообщества.

Потенциал саморазрушения цивилизации, возникший в процессе модернизации, делает реальнее или по меньшей мере неотложнее и утопию мирового сообщества. Точно так же как в XIX веке под угрозой экономического краха люди учились подчиняться условиям индустриального общества наемного труда, уже сегодня и в будущем под угрозой цивилизационного апокалипсиса они должны будут научиться преодолевать все преграды и за одним столом находить и проводить в жизнь решения, направленные на спасение от опасности, ими же порожденной. Тенденция в этом направлении ощущается уже сегодня. Проблемы защиты окружающей среды могут быть осмысленно и по-деловому решены только на основе международных переговоров и соглашений. Соответственно путь к ним ведет через конференции и договоры поверх военно-политических блоков. Угроза накопления атомного оружия чудовищной разрушительной силы тревожит людей в обоих блоках и способствует возникновению общности, политическая устойчивость которой еще должна быть подтверждена.

Политический вакуум

Однако подобные попытки извлечь из этого непостижимого ужаса по крайней мере политический смысл не должны создавать впечатление, будто вновь возникающие, вызванные к жизни опасностью общности имеют хоть какую-то политико-организационную опору. Напротив, они сталкиваются с национально-государственным эгоизмом и господствующими внутриобщественными партийными и прочими организациями индустриального общества, представляющими его интересы. В джунглях корпоративистского общества просто не находится места для осознания глобальной угрозы. У каждой организации есть своя клиентура и своя «социальная среда», состоящая из контрагентов и партнеров по разного рода союзам, которых нужно активировать и сталкивать друг с другом. Глобальность ситуаций

риска ставит плюралистическую структуру подобных организаций перед почти неразрешимыми проблемами. Эта структура сводит на нет выработанные навыки достижения компромисса.

В самом деле, угроза нарастает, но она не оборачивается *превентивной* политикой преодоления риска. Более того, не ясно, какого рода политика, какие политические институты способны это сделать. Правда, возникает труднодостижимая, как и сами риски, общность. Но она – скорее нечто желаемое, нежели реально существующее. Одновременно с пропастью между желаемым и реальным положением вещей возникает вакуум политической компетентности и институциональности, даже вакуум представлений об этом. Открытость вопроса о политическом подходе к опасностям входит в резкое противоречие с растущей необходимостью действовать.

За всем этим, наряду со многими другими вопросами, кроется и вопрос о *политическом субъекте*. Теоретики классовых обществ XIX века выбрали с полным на то основанием в качестве субъекта пролетариат. Этот выбор создавал для них в прошлом и создает сегодня большие трудности. Социальная и политическая очевидность этого выбора, именно *потому* что он был точным, характеризуется движением в обратную сторону. Политические и профсоюзные завоевания рабочего движения велики, причем настолько, что они похоронили под собой роль пролетариата, некогда указывавшую путь в будущее. Эта роль скорее направлена на сохранение достигнутого, которому будущее угрожает, чем на развитие политической фантазии, которая бы искала и находила ответы на тревожные ситуации, возникающие в обществе риска.

Политическому субъекту классового общества – пролетариату – соответствует в обществе риска всего лишь подверженность всех более или менее сознаваемой гигантской угрозе. Такого рода вещи легко вытесняются из сознания. За них отвечают все вместе и никто в отдельности. Причем каждый отвечает только одной половиной своего существа. Другая половина в нем борется за *свое* рабочее место (свой доход, свою семью, свой домик, свой любимый автомобиль, свои привычки проводить отпуск и т.д. Если все это будет потеряно, человек окажется в затруднительном положении, и тут уж ему будет не до ядовитых веществ). И тогда во всей остроте встают вопросы. Можно ли вообще политически организовать людей, подверженных неосознанной опасности? Способны ли *все* стать политическим субъектом? Не слишком ли преждевременно и легковесно делается вывод, что глобальная опасность в состоянии породить общности, основанные на политической воле к действию? Не является ли глобальность опасности и подверженность ей всех поводом *не воспринимать* остроту проблемы или воспринимать ее *в ложном свете*, сваливая ответственность на других? Не тут ли источники, из которых черпают свои аргументы те, кто ищет козлов отпущения?

От солидарности нужды к солидарности страха?

Даже если политические симпатии не вызывают сомнений, политические последствия многозначны. В переходный период от классового общества к обществу риска начинает меняться *качество общности*. Говоря упрощенно, в этих двух типах современных обществ проявляются совершенно разные системы оценок. Классовые общества в своем развитии устремлены к идеалу *равенства* (в различных трактовках от *равенства шансов* до вариантов социалистических моделей общественного устройства). Не так обстоит дело в обществе риска. Его нормативный и движущий принцип – *безопасность*. Место ценностной системы общества «неравенства» занимает, таким образом, ценностная система «небезопасного» общества. Если утопия равенства содержит в себе множество содержательно-позитивных целей общественного развития, то утопия безопасности, собственно, остается *негативной* и *оборони-*

тельной: в принципе речь здесь идет уже не о том, чтобы добиться чего-то «доброе», а чтобы *избежать* худшего. Мечта классового общества звучит так: все хотят и имеют право *получить часть* общего пирога. Цель общества риска: всех необходимо *уберечь* от ядовитых веществ.

Соответственно отличается и основная социальная ситуация, в которой в том и другом обществе находятся люди и которая движет их поступками, объединяет или разъединяет их. Движущую силу классового общества можно выразить одной фразой: «Я хочу есть!» Движущая сила общества риска выражается фразой: «Я боюсь!» Место *общности нужды* занимает *общность страха*. Тип общества риска маркирует в этом смысле эпоху, в которой возникает и становится политической силой *общность страха*. Но пока еще совершенно не ясно, как действует сплывающая сила страха. Насколько прочны общества страха? Какие мотивации, какую энергию действия они освобождают? Как поведет себя эта новая солидарная общность объятых страхом? Способна ли социальная сила страха взорвать индивидуальное расчетливое стремление к выгоде? В какой мере порождающие страх общности способны к компромиссам? В какие формы они объединяются для действия? Побуждает ли страх к иррационализму, экстремизму, фанатизму? До сих пор страх не был основой рационального действия. Верна ли еще эта гипотеза? Быть может, страх, в отличие от материальной нужды, очень шаткое основание для политических движений? Не может ли общность страха распасться от легкого сквозняка контрпропаганды?

Глава II

Политическая теория знания и общество риска

Кого волнуют поставленные выше вопросы, тот должен интересоваться – наряду с техническими, химическими, биологическими, медицинскими ноу-хау – *социальным и политическим потенциалом* общества риска. Выяснением этого мы сейчас и займемся. В качестве исходной точки возьмем аналогию с XIX веком. Мой тезис звучит так: в обществе риска речь идет о такой форме *обнищания*, которая сравнима и в то же время не идет ни в какое сравнение с обнищанием трудящихся масс в промышленных центрах на раннем этапе индустриализации. Почему и в каком смысле «обнищание»?

1. Обнищание цивилизации?

В том и другом случае большинство людей связывает свое переживание разрушительных последствий с общественными процессами индустриализации и модернизации. Там и тут речь идет о грубом, угрожающем вторжении в условия человеческой жизни. Оно проявляется в связи с определенным уровнем развития производительных сил, взаимопроникновения рынков, соотношения собственности и власти. Речь в том и другом случае может идти о разных последствиях. Тогда – о материальном обнищании, нужде, голоде, тесноте, теперь – об угрозе и разрушении естественных основ жизни. Есть и сопоставимые моменты: содержание опасности и *систематика* модернизации, из-за которой возникает и нарастает опасность. В этом заключена собственная динамика: не чья-то злая воля, а рынок, конкуренция, разделение труда – только сегодня все это приняло более широкие масштабы. В том и другом случае все начинается с латентности («побочных воздействий»), которую, преодолевая конфликты, необходимо нарушить. Как тогда, так и теперь люди выходили и выходят на улицу, была и есть публичная критика технического прогресса, машинной цивилизации, как тогда, так и сегодня были и есть и контраргументы.

Затем – что наблюдается и сегодня – проблемы постепенно признаются. Все более явными становятся систематически насаждаемые страдания людей, их угнетение; это вынуждены признавать даже те, кто ранее отрицал их наличие. Право – отнюдь не добровольно, а благодаря мощной поддержке улицы и политических движений – стало ориентироваться на настроения масс; возникло избирательное право, право на социальное обеспечение, право на труд, право решающего голоса. Параллели с сегодняшним днем налицо: безобидные продукты – вино, чай, лапша и т.п. – оказываются опасными. Удобрения оборачиваются ядами продолжительного действия с далеко идущими последствиями. Хваленые некогда источники богатства (атом, химия, генная технология и т.д.) превращаются в источники непредсказуемых опасностей. Очевидность опасности вызывает все большее сопротивление попыткам представить ее безобидной, затушевать. Агенты модернизации – в промышленности, науке и политике – чувствуют себя неуютно в роли обвиняемых, которых вгоняет в пот цепь косвенных улик.

Кажется, можно сказать: все это уже было. Ничего нового. Но в глаза бросаются и глубокие различия. Непосредственности лично и сообща переживаемой нищеты противостоит сегодня неосвязаемость цивилизационных угроз, которые осознаются только благодаря научному знанию и недоступны постижению первичным опытным путем. Это угрозы, которые выражаются на языке химических формул, биологических взаимосвязей и медико-диагностических понятий. Подобная структура знания, однако, не делает эти угрозы менее опасными. Напротив, значительные

группы населения оказываются – намеренно или невольно, по причине аварий или катастроф, в мирное или военное время – перед лицом разрушений и опустошений, при виде которых пасует наш язык, наша фантазия, любая медицинская или моральная категория. Речь идет об абсолютном и не представимом НЕ, нам угрожает НЕ-бытие *вообще*, не представимое, непостижимое не-, не-, не-.

Но только ли *угрожает*? Тем самым намечено еще одно существенное отличие: сегодня речь идет о *грозящей возможности*, которая время от времени показывает испуганному человечеству, что это не только возможность и не просто выдумка фантастов, а факт, который когда-нибудь обязательно произойдет.

Это родовое отличие реальности и возможности дополняется еще и тем, что – по крайней мере, в Федеративной Республике Германии, именно о ней здесь говорится, – цивилизационное обнищание идет рука об руку с *противоположностью* материального обнищания (особенно когда представляешь себе ситуацию в XIX веке и голодающих странах третьего мира). Люди не нищенствуют, а благоденствуют, живут в обществе массового потребления и изобилия (что вполне может сопровождаться обострением социального неравенства), они чаще всего образованы и информированы, но их мучает страх, они ощущают угрозу и готовы целенаправленно ей противодействовать, чтобы не допустить единственно возможной проверки истинности своих пессимистических видений будущего. Подтверждение угрозы было бы равнозначно бесповоротному самоуничтожению, и это как раз и есть побуждающий к действию аргумент, который превращает предполагаемую угрозу в *реальную*. В отличие от XIX века, возникающие проблемы нельзя решить с помощью повышения производительности, перераспределения, расширения социальных гарантий и т.д., они требуют или целенаправленной и массивной «политики контринтерпретации», или принципиально нового мышления и перепрограммирования действующей парадигмы модернизации.

Эти отличия демонстрируют, почему тогда и сегодня подверженными опасности оказываются разные группы: в прошлом это объяснялось классовой принадлежностью. Человек рождался уже принадлежащим к определенному классу. Это определяло его судьбу с юности до старости и сказывалось на всем: где и кем человек работал, как питался, как и с кем жил, каких друзей и коллег имел, кого ругал и против кого, если возникала необходимость, протестовал на улице.

Ситуации риска, напротив, несут в себе совсем другую опасность. В них нет ничего само собой разумеющегося. Они как бы универсальны и неспецифичны. О них мы слышим и читаем. Такой способ передачи знания означает, что страдают группы людей, которые *лучше образованы и информированы*. Конкуренция с материальной нуждой указывает на еще один признак: осознание опасности и готовность противодействовать ей получают развитие скорее там, где угроза непосредственному существованию ослаблена или снята, то есть в обеспеченных слоях (и странах). Невидимость риска можно преодолеть и на основе собственного опыта, например, когда умирает любимое тобой дерево, когда вблизи планируют построить атомную электростанцию или происходит выброс ядовитых отходов производства, когда средства массовой информации сообщают о содержании ядовитых веществ в пище и т.д. Такого рода подверженность опасности не вызывает социальной сплоченности, которая бы ощущалась как пострадавшими, так и другими людьми. Не появляется ничего, что могло бы организовать их в социальный слой, группу или класс. Разница между ущемленностью в классовом обществе и ущемленностью в обществе риска весьма существенна. Говоря упрощенно, в классовом обществе бытие определяет сознание, а в обществе риска, наоборот, *сознание (знание) определяет бытие*. Решающую роль в этом играет вид знания, а именно его независимость от собственного опыта, с одной стороны, и глубокая зависимость от знания, охватывающего все параметры грозящей опасности, с другой. Потенциал угрозы, который детерминирован классовой

ситуацией, например, потерей рабочего места, очевиден всякому, кого эта угроза коснулась. Для этого не нужны особые средства получения знаний – измерительные приборы, сбор статистических данных, их подтверждение, соображения касательно порога терпимости. Ущемленность очевидна и в этом смысле не нуждается в научном подтверждении.

В совсем иной ситуации оказывается тот, кто узнает, что чай, который он ежедневно употребляет, содержит ДДТ, а купленный недавно кухонный гарнитур – формальдегид. Опираясь на собственные знания и собственный опыт, он не в состоянии определить меру своей ущемленности. Уровень его научных знаний не позволяет узнать, содержится ли и в каком количестве ДДТ в его чае и формальдегид в кухонном гарнитуре, а также ответить на вопрос, каково краткосрочное и долгосрочное воздействие этих вредных веществ. То, *какой* ответ будет дан на его вопросы, в той или иной мере скажется на его ущемленности. В том, что касается положительного или отрицательного ответа, степени, масштаба и форм проявления грозящей ему опасности, человек принципиально *зависим от чуждого знания*. Жертвы становятся *некомпетентными* в деле, касающемся их собственной жизни. Они утрачивают значительную часть суверенного знания. Вредное, таящее в себе угрозу, враждебное притаилось повсюду, но судить о вредности или полезности сам они не в состоянии, они вынуждены пользоваться гипотезами, методами и контроверзами чужих производителей знания. Соответственно в ситуациях риска предметы повседневного обихода могут, так сказать, *за одну ночь* превратиться в «тройских коней», из которых выскочат опасности и в спорах друг с другом возвестят, чего следует опасаться, а чего нет. Жертвам даже не дано решать, обращаться ли им за советом к экспертам. Не жертвы ищут экспертов по рискам, а сами эксперты ищут себе жертв. Они могут появиться совершенно неожиданно. Ибо опасность можно предположить в любом предмете повседневного спроса. Она скрывается в них, невидимая, и все же слишком явная, и вызывает к экспертам-ответчикам, ставя перед ними тревожные вопросы. Ситуации риска в этом смысле суть *бурлящие источники вопросов, на которые жертвы не знают ответа*.

С другой стороны, это означает, что все решения, которые принимаются в рамках накопления знаний о рисках и цивилизационных опасностях, не являются решениями только научного характера (постановка вопросов, гипотезы, способы измерения, методика, предельные величины и т.д.), а в то же время и решения о *вредных воздействиях*: о радиусе действия и виде опасности, содержании угрозы, круге лиц, долговременных последствиях, мероприятиях, ответственных, притязаниях на возмещение ущерба. Если сегодня будет установлено, что формальдегид, ДДТ и т.д. в тех концентрациях, в которых они содержатся в предметах повседневного обихода и продуктах питания, наносят ущерб здоровью, то такая констатация может обернуться социальной катастрофой, так как указанные химические вещества присутствуют повсюду.

Отсюда ясно, что *возможности научного исследования* потенциала угроз, которые несут в себе производительные силы, все больше сужаются. Признать сегодня, что при установлении предельных величин для использования пестицидов была допущена ошибка (в науке это нормальное явление), означало бы вызвать *политическую* (или экономическую) катастрофу, следовательно, этого делать не следует. Деструктивные силы, с которыми ученые имеют сегодня дело во всех областях науки, навязывают им бесчеловечный *закон безошибочности*, закон, который находится в резком противоречии с идеалами прогресса и критики; нарушать его – свойство человеческой природы (см. с. 293 и сл.).

В отличие от сообщений о материальных потерях, сообщения о содержании ядовитых веществ в продуктах питания, предметах повседневного пользования и т.д. несут в себе *двойной шок*: к угрозе самой по себе добавляется утрата суверенного

суждения об опасностях, которые вплотную окружают людей. Вся научная бюрократия с ее длинными коридорами, залами заседаний, некомпетентными, полуккомпетентными и совершенно невнятными суждениями и важничаньем ученых мужей предстает перед нами. Там есть передние входы, боковые входы, тайные выходы, намеки, информация и контринформация о том, как подходить к знанию, как его следует получать, но на деле это знание сначала перемешивается, потом упорядочивается, поворачивается то наружу, то внутрь и в конечном счете очищается так, что уже не поймешь, есть ли в нем смысл, а если таковой и находится, то лучше сберечь его про себя. Все это не было бы столь драматично и не заслуживало бы внимания, если бы речь не шла о надвигающихся грозных опасностях.

С другой стороны, исследования рисков параллельно проходят на кухнях, в многочисленных кафе и винных погребах. Каждое из принятых там кардинальных решений заставляет уровень яда в крови населения, так сказать, резко скакать то вверх, то вниз. В отличие от классового общества, в обществе риска *жизненные ситуации и выработка знаний непосредственно связаны и переплетены между собой*.

Отсюда следует, что политическая социология и теория общества риска по своей сути есть социология знания, не научная социология, а именно социология всех ветвей знания, всех сплавов знания и его носителей в их взаимодействии и противодействии, в их основаниях, претензиях и ошибках, в их иррационализме, в их истинности и невозможности овладеть знанием, на которое они претендуют. Резюмируем: сегодня кризис будущего еще не просматривается; он – возможность на пути к действительному положению вещей. А возможность – это нечто такое, что может и *не сбыться*. Лживость такого утверждения заключена в преднамеренности прогноза. Обнищание невидимо, а богатство и изобилие налицо. Обнищание охватывает весь мир при отсутствии политического субъекта. И все же это ясное и недвусмысленное *обнищание*, если верно оценивать сходства и различия с XIX веком. Наряду со списками умерших, итогами нанесенного ущерба и статистикой несчастных случаев в пользу тезиса об обнищании говорят и другие факты.

Фаза латентности угроз риска подходит к концу. Невидимые опасности становятся *видимыми*. Разрушение природы происходит уже не в недоступной собственному опыту людей сфере химических, физических и биологических цепей вредного воздействия, а прямо-таки бросается в глаза, бьет в нос и лезет в уши. Вот только самые очевидные феномены: стремительно прогрессирующее умирание лесов, покрытые грязной пеной внутренние водоемы и моря, измазанные нефтью трупы животных, смог, эрозия зданий и памятников искусства, вызванная действием вредных веществ, цепь аварий с выбросом ядов, скандалы и катастрофы, связанные с ядовитыми веществами и сообщения средств массовой информации об этом. Колонки цифр при подсчетах содержания вредных и ядовитых веществ в продуктах питания и предметах обихода становятся все длиннее. Преграды для «предельных величин», кажется, больше соответствуют требованиям, предъявляемым к швейцарскому сыру (чем больше дыр, тем лучше), нежели к охране здоровья населения. Опровержения ответственных лиц становятся все более *громкими* и все менее *аргументированными*. Кое-что стало в это книге *тезисом*, нуждающимся в подтверждении аргументами. Но из списка точек зрения ясно, что конец фазы латентности имеет две стороны: *риск и его (общественное) восприятие*. Невозможно понять, обострились ли риски сами по себе, или обострился наш *взгляд* на них. Обе стороны совпадают, обуславливают друг друга, усиливаются и превращаются в нечто единое, поскольку риски – это риски *в знании*. К списку исчезнувших растений и животных добавляется обостренное осознание риска обществом, возросшая чувствительность к цивилизационным опасностям, которые, кстати, нельзя путать с враждебным отношением к технике и в этом качестве предавать их анафеме: именно *интересующиеся* техникой молодые люди видят и называют эти опасности. Это обострившееся осознание риска четко просматривается в сравнительных результатах

ривается в сравнительных результатах опросов населения в западных индустриальных странах, а также в возросшей ценности соответствующих сообщений в средствах массовой информации. Утрата латентности и растущее осознание цивилизационных рисков, что трудно было представить себе еще десятилетие назад и что сегодня стало первостепенным политическим фактором, – не результат всеобщего пробуждения от спячки, а итог *последовательного* развития.

Во-первых, множатся попытки придать рискам *научное обоснование*; а во-вторых – одно обуславливает другое – вместе с риском растет и *бизнес*. Неверно, будто вскрытие опасности и риска цивилизационного развития есть только *критика*; данное вскрытие опасности – при всем оказываемом ему сопротивлении и обрушивающихся на него проклятиях – *еще и первостепенный фактор экономического подъема*. Это становится совершенно очевидным на примере развития соответствующих отраслей экономики, а также растущих ассигнований общества на охрану окружающей среды, борьбу с цивилизационными болезнями и т.д. Промышленная система извлекает барыши из неблагоприятных условий, которые она же и порождает, и барыши немалые (см.: М. Jaenicke, 1979).

Через производство рисков потребности окончательно освобождаются от своей остаточной прикрепленности к природным факторам и тем самым лишаются своей конечности, возможности удовлетворения. Голод можно утолить, потребности удовлетворить; риски – это «бездонная бочка потребностей», которую невозможно наполнить. В отличие от потребностей риски можно не только вызывать (с помощью рекламы и т.д.), в соответствии со сбытом продлевать их действие, короче, ими можно не только манипулировать. Благодаря меняющимся дефинициям рисков можно *создавать* совершенно новые потребности, а, значит, и рынки. Прежде всего это потребность избегать риска – открытая для интерпретации, конструируемая по законам причинно-следственных связей, бесконечно воссоздаваемая. Производство и потребление, таким образом, со становлением общества риска поднимается на совершенно новую ступень. Место заданных и манипулируемых потребностей в системе производства занимает *самовоспроизводящийся* риск.

Если решиться на довольно смелое сравнение, то можно сказать, что развитой капитализм в производстве рисков поглотил, обобщил и сделал нормой разрушительную силу войны. Как и во время войны, осознаваемые цивилизационные риски «разрушают» способы производства (примеры: автомобили без нейтрализаторов выхлопных газов, избыток сельскохозяйственных продуктов), то есть преодолевают кризис сбыта и создают новые расширяющиеся рынки. Производство рисков и распространители знания о них – цивилизационная критика, критика техники, экологическая критика, драматургия и исследование рисков в средствах массовой информации, – все это и есть нормальная, имманентно присущая системе форма революционизации потребностей. Риски делают экономику, по словам Лумана, «реферирующей самое себя», независимой от сферы удовлетворения человеческих потребностей.

Существенно в этом плане *симптоматичное и символическое* «преодоление» рисков. Риски, так сказать, должны расти вместе с их преодолением. Их нельзя устранить вместе с причинами и источниками. Все должно происходить в рамках *косметической* обработки рисков: упаковка, показательное уменьшение вредных веществ, установка очистительных фильтров при сохранении источников загрязнения. То есть проводится не *превентивная*, а символическая политика устранения рисков, на деле их умножающая. Создается соответствующая индустрия. «Делать вид» – вот что побеждает и становится программным. Для этого нужны «альтернативные крикуны», а также критически и технологически ориентированные ученые и антиученые. Все вместе они представляют собой частично самофинансируемые («самопо-

мощь)), частично финансируемые обществом «забегающие вперед рекламные агентства», создающие новые рынки сбыта рисков.

Вы скажете, фикция? Полемический перегиб? Но тенденцию развития в этом направлении можно доказать уже сегодня. Если она претворится в жизнь, то это и будет *Пиррова победа*, ибо риски несмотря на всю косметику будут расти и превратятся в *глобальную опасность* для всех. Тогда возникнет общество, в котором взрывные силы рисков отобьют у *каждого* желание гнаться за прибылью, основательно отравят ему это удовольствие. Именно такая возможность иллюстрирует нашу главную мысль: индустриальное общество, как капиталистическое, так, кстати, и социалистическое, систематически производит угрозу самому себе накоплением и экономическим использованием рисков. Общественно-историческая ситуация и ее динамика вполне сравнимы с ситуацией позднего феодализма в период перехода к индустриальному обществу: точно так же как феодальная знать жила за счет промышленной буржуазии (сдача в аренду права на торговлю и на получение доходов, промысловые налоги) и в собственных интересах способствовала ее развитию, невольно, но неизбежно создавая себе все более крепнущих наследников. Так и развитое индустриальное общество «кормится» рисками, которые оно производит, и таким образом создает опасные социальные ситуации и политические потенциалы, ставящие под сомнение основы проводившейся до сих пор модернизации.

2. Заблуждения, обманы, ошибки и истины: о конкуренции рациональностей

Где избыток рисков оставляет далеко позади избыток богатств, там возрастает значение внешне безобидного различия между рисками и их *восприятием*; одновременно это различие утрачивает свою правомочность. На нем держится и благодаря ему рушится монополия рациональности научной дефиниции рисков. Ибо из-за него утрачивается возможность специализированного, авторитетного и объективного определения рисков. Наука «фиксирует» риски, население их «воспринимает». Разница между тем и другим указывает на меру «иррационализма» и враждебности к технике. В делении мира на сведущих и невежественных отражается и образ общественности. «Иррационализм» «уклончивого» восприятия рисков обществом заключается в том, что в глазах технарей большинство населения ведет себя, как студенты первого курса инженерного факультета или и того хуже. Они невежественны, но готовы к услугам, старательны, но ни о чем не подозревают. В этом образном сравнении население сплошь состоит из тех, кто хотел бы стать инженером, но не обладает для этого достаточными знаниями. Остается напичкать его техническими подробностями, и оно (население) присоединится к точке зрения и оценкам экспертов о технической управляемости и безопасности рисков. Протесты, страхи, критика, сопротивление общественности – это всего лишь *чисто информационная проблема*. Если бы люди знали то, что знают технари, они успокоились бы – или впали в безнадежный иррационализм.

Это *ложная* точка зрения. Даже в оформлении статистических данных, выведенных на основе высшей математики, или изложенных технологическим языком, высказывания ученых являются высказываниями типа: *вот так мы хотели бы жить*, то есть это суждения, которые могут быть приняты только при перманентном нарушении границы между природой и техническими науками. Тем самым меняется тактика: неприятие научных определений риска – это совсем не то, что можно было бы поставить в упрек населению, пожуричь его за «иррационализм», напротив, оно говорит о *ложности* культурных предпосылок притяия, содержащихся в научно-технических высказываниях. Технические эксперты по рискам *заблуждаются* отно-

сительно эмпирической достоверности своих имплицитных оценочных предпосылок, а именно относительно предпосылок того, что представляется населению приемлемым, а что нет. Разговоры о «ложном, иррациональном» восприятии рисков населением венчают это заблуждение: ученые *заимствуют* свои представления о культурной акцептации эмпирической критики, возводят эти свои *заемные* представления в догму и, сидя на этом шатком троне, объявляют себя судьями, выносящими приговор «иррационализму» населения, представления которого они заимствуют и кладут в основу своей работы.

Иными словами, занимаясь рисками, естественные науки незаметно и невольно лишили себя части собственных полномочий, по *необходимости демократизировались*. В своих имплицитных ценностных представлениях о жизни, достойной человека, суждения о рисках содержат *некоторое право общества на выражение собственного мнения*, против чего научно-техническое восприятие рисков хотя и защищается (подобно тому как феодалы защищались от введения всеобщего права голоса), но одновременно на это право и опирается, противореча собственным притязаниям на эмпирическую истинность своих гипотез.

Различение между (рациональной) научной *констатацией* рисков и (иррациональным) их *восприятием* ставит с ног на голову роль научной и социальной рациональности в осмыслении цивилизационных рисков. Оно содержит в себе фальсификацию истории. Все то, что мы знаем сегодня о рисках и опасностях научно-технической цивилизации, утвердилось в борьбе с *массированным отрицанием* угрозы, с нередко ожесточенным *сопротивлением* «научно-технической рациональности», отмеченной самодовольно-ограниченной верой в прогресс. Научное исследование рисков повсюду тащится следом за критикой социальной среды, прогресса и культуры индустриальной системы. В этом смысле в научно-технических занятиях цивилизационными рисками кроется сегодня изрядная толика непризнанного *культурно-критического* обращения в другую веру, и притязания технических наук на монополию рационализма в восприятии рисков напоминают претензии на непогрешимость папы Римского, перешедшего в евангелическую веру.

Осознание риска должно реконструироваться как борьба частью противоречивых, частью наслаивающихся друг на друга претензий на рациональность. Нельзя подменять иерархию вероятности иерархией рациональности, следует задаться вопросом, каким образом на примере восприятия рисков «рациональность» обретает *социальный характер*, то есть становится вероятной или спорной, определяемой или неопределяемой, достигнутой или утраченной. В этом направлении должны развиваться *логика и алогичность*, столкновение и взаимопроникновение научного и социального восприятия и оценки цивилизационных рисков. При этом можно попытаться найти ответы на вопросы о том, какие систематические ошибки и источники заблуждений заложены в научном осмыслении рисков, проявляющиеся только при их восприятии в социуме? И наоборот: в какой мере социальное восприятие рисков зависит от научной рациональности даже там, где оно систематически отрицается, критикуется и грозит возрождением доцивилизационных религиозных движений?

Мой *тезис* заключается в следующем: источник научно-технического скепсиса лежит не в «иррационализме» критиков, а в *несостоятельности* научно-технической рациональности перед лицом растущих рисков и цивилизационных опасностей. Эта несостоятельность не есть нечто прошлое, она – актуальное настоящее и грядущее нам будущее. Постепенно она становится видна во всей своей масштабности. Это не несостоятельность отдельных ученых и дисциплин, она вытекает из системного институционально-методического подхода науки к рискам. Науки таковы, какими их делают. Ориентированные на узкую специализацию, отчужденно воздерживающиеся от проверки практикой, они совершенно *не в состоянии* адекватно реагировать на цивилизационные риски, поскольку в высшей степени причастны к

их возникновению и росту. Скорее они становятся – частью с неотягощенной совестью «чистой научности», частью с угрызениями совести – *легитимным прикрытием* охватившего весь мир индустриального загрязнения и отравления воздуха, воды, продуктов питания и т.д., а также связанных с этим болезней и умирания растений, животных и человека.

Как это показать? Осознание рисков модернизации утвердилось, *преодолевая сопротивление* научной рациональности. К нему ведет широкий след научных заблуждений, ложных оценок и попыток преуменьшить серьезность ситуации. История осознания и социального признания рисков совпадает с историей демистификации науки. Обратная сторона признания – преодоление научного «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не ощущаю, ничего не знаю».

Экономическая слепота по отношению к рискам

Главное заблуждение относительно технологического содержания риска следует искать в беспримерном непонимании и преуменьшении опасности атомных рисков. Читатель сегодня не верит своим глазам, когда читает, какие советы давались людям в одной официальной памятной записке федерального правительства в случае «воздушного нападения»:

«Ослепительно яркая вспышка света – первый признак взрыва атомной бомбы. Его тепловое воздействие вызывает ожоги. Поэтому необходимо... как можно быстрее прикрыть чувствительные части тела – глаза, лицо, затылок и руки!

Как можно быстрее спрячьтесь в углублении, яме или канаве!

Если вы едете в автомобиле, мгновенно пригнитесь ниже стекол, остановитесь, лягте на пол и, съежившись, прикройте лицо и руки!

По возможности укройтесь под прочной столешницей, письменным столом, верстаком, кроватью или другим предметом мебели!

В подвале у вас больше шансов выжить, чем на верхних этажах. Не каждое подвальное перекрытие обрушивается!

При обнаружении химических и бактериологических отравляющих веществ немедленно наденьте предохраняющую маску!

Если такой маски нет, дышите неглубоко, предохраняйте дыхательные пути, закрыв влажным платком нос и рот!

По возможности очистите себя от загрязнения радиоактивными элементами и отравляющими веществами!

Не впадайте в панику, остерегайтесь бездумной спешки, но действуйте!» (Цит. по: Guenther Anders, *Die atomare Bedrohung*, Muenchen, 1983, S. 133 ff.)

Апокалипсическая катастрофа преуменьшается, подлаживается под «приватное восприятие» человека. То, что при *любой* атомной угрозе приходит «конец всяким сравнениям» (Гюнтер Андерс), совершенно замалчивается, представляется безобидным. Советы невольно воспринимаются в духе юмористической логики ужаса: «Когда ты умрешь – будь осторожен! Промедление опасно!» (Г. Андерс, ук. соч.)

Это грехопадение атомной физики и технологии не случайно. Оно не результат индивидуальной ошибки или «единичной производственной аварии» естественнонаучной дисциплины. Именно своим радикализмом оно указывает на основной источник заблуждения: *в стремлении поднять производительность труда не учитывались и не учитываются связанные с этим риски*. Главный приоритет научно-технического интереса отдается производительности, и только потом, часто даже не во вторую очередь, думают о связанных с этим рисках.

Производство рисков и попытки не замечать их имеют своей основной причиной «*экономическую слепоту на один глаз*» естественнонаучной и технической рациональности. Ее здоровый глаз направлен только на достижение производственной выгоды. Вместе с тем она поражена системно обусловленной *слепотой в отношении рисков*. В то время как возможности экономической реализации заранее предусмотр-

рены, испытаны, исследованы по всем правилам искусства, при изучении рисков приходится все время блуждать в темноте и потом испуганно заявлять об их «непредвиденных» или даже вовсе «не поддающихся предвидению» последствиях. Противоположное мнение, будто производственные выгоды как скрытые побочные действия сознательного контроля за рисками «незаметно» и «невольно» осознаются позже вопреки сопротивлению ориентированных на риски естественных наук, представляется совершенно абсурдным. Это еще раз показывает степень самоочевидности, с которой в развитии техники под присмотром естественных наук исторически проявляется, говоря словами Хабермаса (Habermas), *повышающий производительность познавательный интерес*, связанный с логикой производства богатств и являющийся ее частью.

Голоса «побочных воздействий»

То, что с одной стороны повышает производительность, с другой несет с собой *болезнь*. Родители, дети которых страдают приступами ложного крупа, разбивают себе в кровь головы о стену невозможности научно объяснить существование модернизационных рисков. Все говорят о нескончаемом страхе, который они пережили, когда их ребенок заходился среди ночи лающим кашлем, лежа с расширившимися от ужаса глазами в своей кроватке и задыхаясь от недостатка воздуха. С тех пор как им стало известно, что содержащиеся в воздухе вредные вещества поражают не только растения, почву и воду, но в первую очередь грудных и малолетних детей, они уже не воспринимают приступы кашля как удар судьбы. В 1984 году по всей ФРГ появилось более ста инициативных групп. Их требование: «Не болтать вздор, а удалять из воздуха серу!» (См.: U. Koenig, in: *der Stern*, April 1985).

Им больше не нужно пассивно размышлять о своих проблемах. То, что для науки «скрытые побочные воздействия» и «недоказанные взаимосвязи», для них – их страдающие лающим кашлем дети, которые в сырую погоду синеют и с хрипом ловят ртом воздух. На их стороне забора «побочные воздействия» имеют *голоса, глаза, лица, слезы*. Это расшатывает иррелевантные объяснения. Вопросы как бы сами собой адресуются другой стороне. И все же люди скоро узнают, что их собственные объяснения и их собственный опыт вообще ничего не значат, пока они имеют дело с ни о чем не подозревающей официальной наукой. Кухня в доме крестьянина рядом с недавно построенным химическим предприятием может пожелтеть, но о подлинной причине не может быть и речи, пока это не «доказано научно».

Им, следовательно, приходится самим быть анти-экспертами в деле модернизационных рисков. Риски для них не риски, а страдающие, жалобно кричащие, синееющие от удушья дети. Они борются за своих детей. Модернизационные риски в высокопрофессиональной системе, где у каждого есть свой сектор ответственности, но никто ни за что не отвечает, обретают своих *адвокатов*: родители начинают собирать факты и аргументы. «Белые пятна» модернизационных рисков, которые для научной общественности остаются «невидимыми» и «недоказанными», при заинтересованном содействии родителей очень быстро обретают форму. К примеру, родители детей обнаружили, что допустимые «потолки» для вредных веществ в ФРГ слишком высоки. Хотя исследования показали, что уже при кратковременном содержании в кубическом метре воздуха 200 микрограмм диоксида серы дети очень часто заболевают ложным крупом, в ФРГ допустимая величина в два раза выше и в четыре раза превышает уровень, установленный Всемирной организацией здравоохранения. Родители доказали, что результаты измерений только потому находятся в рамках «допустимого», что верхние показатели сильно загрязненных городских районов складываются с показателями благополучных районов, и затем выводится средняя величина. «Но наши дети, – говорят родители, – заболевают не от средних величин».

Обнаруженная жульническая практика ученых указывает на категориальные различия в восприятии рисков научной и общественной рациональностью.

Причины отрицания рисков

Прежде всего надо говорить о *разной подверженности рискам*. Мы находимся по разные стороны одного забора. Если ученый допустил ошибку, в худшем случае это скажется на его репутации (а если ошибка кому-то понравится, его могут даже повысить в должности). На стороне подверженных риску это же обстоятельство проявляется совершенно по-иному. Ошибка в определении верхней границы означает здесь непоправимый урон печени, опасность заболеть раком. Соответственно здесь другая неотложность, другие временные горизонты и нормы, которыми измеряется степень ошибочности ложного допущения.

Ученые настаивают на «добротности» своей работы, держат на высоком уровне теоретико-методические стандарты, чтобы обеспечить себе карьеру и материальное существование. Именно отсюда вытекает своеобразная антилогика обращения с рисками. Умение настаивать на недоказанности причинных взаимосвязей вполне приличествует ученому и даже достойно похвалы. Но для подверженных риску такой подход оборачивается своей противоположностью: *он ведет к накоплению рисков*. Ведь речь здесь идет об опасностях, которых нужно избегать, малейшая вероятность которых уже несет в себе угрозу. Если на основании «неясного» толкования факта отрицается само наличие риска, то это означает, что необходимые контрмеры не будут приняты и *опасность возрастет*. Взвинчивание стандартов научности *сужает до минимума* круг признанных, требующих активного вмешательства рисков, наука, таким образом, тайно выдает рискам *охранную грамоту, обеспечивающую их накопление*. Настаивание на «чистоте» научного анализа ведет к загрязнению и отравлению воздуха, продуктов питания, воды и почвы, растений, животных и человека. Получается, что точные науки вступают в тайный союз с разрешенными и стимулируемыми *ими* опасностями, угрожающими жизни.

Это не просто общая и потому абстрактная взаимосвязь. Для ее выяснения существуют конкретные познавательные инструменты. При этом ключевое значение имеет констатация содержащегося в модернизационных рисках предположения о причинной связи, доказать которую по причинам научно-теоретического характера трудно или почти невозможно (см. об этом: W. Stegmüller, 1970). Здесь представляет интерес управляемость процессом признания рисков с помощью «рычага добротности», доказывающего наличие причинной связи: чем выше критерии доказательности, тем уже круг признанных и тем обширнее круг непризнанных рисков. Настаивание на «добротности», следовательно, — это узаконенная высокоэффективная конструкция, необходимая для сдерживания и канализации напора модернизационных рисков, но в нее встроено глухое окно, которое в обратной пропорции к достигнутому «непризнанию» рисков способствует их росту.

Либерализация доказательств причинности была бы в этих условиях равнозначна прорыву дамбы и бурному потоку рисков и угроз, которые, распространяясь, потрясли бы все социальное и политическое устройство Федеративной Республики Германии. Как и прежде, у нас все еще используется — в тесном взаимодействии науки и права — так называемый «принцип причинности» как *шлюз для признания или непризнания рисков*, хотя известно, что модернизационные риски по своей структуре в целом не поддаются достоверной интерпретации на основе «принципа причинности». Чаще всего имеется не *один* источник загрязнения, вредные вещества попадают в воздух из многих труб и соотносятся с неспецифическими недугами, в возникновении которых виновато множество «причин». Кто в этих условиях настаивает на *точном* причинном доказательстве, тот увеличивает до максимума непризнание и

уменьшает до минимума признание обусловленных промышленной деятельностью цивилизационных болезней и заражения окружающей среды. Блудя невинность «чистой» науки, исследователи рисков защищают «высокое искусство причинных доказательств», блокируют протесты общественности, душат их в зародыше, ссылаясь на «отсутствие» причинных доказательств; им кажется, что они избавляют промышленность от лишних расходов и прикрывают политиков с тыла, но на деле они открывают шлюзы, несущие угрозу жизни в целом.

Одновременно это наглядный пример превращения «рациональности» в «иррациональность» в зависимости от того, как рассматривается один и тот же образ мыслей и действий: применительно к производству богатств или к производству рисков. Настаивание на точном доказательстве причинности – ядро естественнонаучной рациональности. Быть в этой сфере точным и ничего никому «не дарить» – одно из главных качеств естественнонаучного этоса. Вместе с тем этот принцип родился из другого кружка проблем и, вероятно, в эпоху иного мышления. Во всяком случае для модернизационных рисков он *принципиально неуместен*. Там, где наносимый ядовитыми веществами ущерб можно понять и измерить только в международном масштабе и на базе соответствующих подсчетов, совершенно невозможно усматривать непосредственную причинную связь между отдельными производителями отдельных веществ и вполне определенными болезнями, возникновению которых нередко способствовали или играли в этом решающую роль и другие факторы. Это напоминает сравнение возможностей компьютера со счетом на пальцах. Кто на этом настаивает, тот отрицает реальность взаимосвязей, которые тем не менее продолжают существовать. Только оттого, что ученые не могут определить отдельные причины отдельных вредных воздействий, содержание отравляющих веществ в воздухе и продуктах питания не уменьшается, опухоли дыхательных путей, вызванные действием смога, не исчезают, смертность не снижается; если концентрация диоксида серы превышает 300 микрограмм на кубический метр воздуха, она заметно повышается.

В других странах для доказательства причин действуют совсем другие нормы. Нередко их приходилось устанавливать, когда возникали социальные конфликты. В связи с охватившим весь мир переплетением модернизационных угроз судьбы в Японии решили больше не толковать факт невозможности строгого естественнонаучного доказательства причинности рисков в пользу их производителей, то есть, в конечном счете, в ущерб всем. Они признают причинную взаимосвязь только тогда, когда статистически доказана корреляция между содержанием вредных веществ и определенными заболеваниями. Те предприятия, которые выбрасывают в атмосферу отравляющие вещества в таком количестве, могут быть привлечены к судебной ответственности и приговорены к выплате соответствующего возмещения за причиненный ущерб. В Японии на этой основе целый ряд фирм был приговорен в показательных процессах к выплате пострадавшим громадных сумм. *Отрицание причин* ущерба и заболеваний в ФРГ представляется чистейшим издевательством. Блокируя собранные и озвученные пострадавшими аргументы, ученые встают перед фактом реальной утраты научной рациональности и научной практики, которые всегда отчужденно и равнодушно реагировали на ими же производимые риски и опасности.

Сплошной обман: предельные величины

Существуют и другие «познавательные шлюзы» для ядовитых веществ, роль рычагов в которых играют специалисты в области рисков. В их распоряжении безотказное волшебное заклинание: «Трах-тибидох-тибидох-тохтох!» В определенных районах это фиксируется как «танец кислотного дождя». Говоря понятным языком: они определяют допустимые величины или предписывают предельное количество. Что говорит о полном отсутствии у них представления о сути дела. Поскольку уче-

ные всегда должны иметь представление о том, чем они занимаются, они маскируют свое незнание множеством слов, методик и цифр. Главное слово для выражения невежества в области рисков – «допустимая граница». Рассмотрим, что это значит.

Предельные уровни «допустимых» следов вредных и ядовитых веществ в воздухе, воде и продуктах питания имеют примерно то же значение для распределения рисков, что и принцип соиздания для неравномерного распределения богатства. Они допускают выбросы яда и одновременно узаконивают их в ограниченном объеме. Кто ограничивает загрязнение, тот уже *согласился* с его наличием. То, что сегодня еще возможно, посредством социальной дефиниции объявляется «безвредным» – какой бы вред это не приносило. Предельные величины могут, правда, предотвратить наихудшее, но в то же время они являются разрешением на то, чтобы *немножко* отравить человека и природу. Все дело в том, как велико может быть это «немножко». При определении допустимых величин встает вопрос, могут ли растения, животные или люди вынести маленькую или большую дозу яда, какова величина этой «дозы» и что значит «вынести». Такие вот восхитительно жуткие вопросы рождаются на цивилизационной кухне ядов и противоядий.

Не будем здесь разбираться по поводу того, что показатели, в том числе и допустимые, были когда-то делом *этики*, а не химии. Мы, таким образом, имеем дело с «предписанием о допустимых величинах средств защиты растений и других средств борьбы с вредителями в или на продуктах питания и изделиях из табака» (так это звучит на неуклюжем канцелярском языке), с *биологически остаточной этикой* развитой индустриальной цивилизации. Она, кстати, странным образом остается негативной. Она выражает некогда само собой разумеющийся принцип: не травить друг друга. Если точнее, то следовало бы сказать: не травить друг друга *до смерти*. Забавным образом именно она делает возможной знаменитую и спорную «дозу». Речь, следовательно, в этом «предписании» идет не о *предотвращении* отравления, а о *допустимой мере* отравления. Это предписание не оставляет сомнений в том, что отравление допустимо. Допустимые величины в этом смысле представляют собой линии отступления цивилизации, в изобилии отравляющей себя вредными веществами и ядами. Напрашивающееся требование запретить отравление этим предписанием отбрасывается как *утопическое*.

Благодаря допустимым величинам определенная доза отравления становится нормой. «Немножко» яда просто исчезает за допустимыми величинами. Эти величины делают возможным долговременную дозу нормального коллективного отравления. Объявляя уже произошедшее отравление *безвредным*, они делают то, что сами же допустили, как бы несуществующим. Если допустимые величины выдержаны, значит, отравления не произошло, сколько бы ядовитых веществ не содержалось на самом деле в продуктах питания.

Если бы удалось достичь единства в отношении не совсем ложного принципа – вообще не травить, не было бы никаких проблем. Не было бы и нужды в «предписании о допустимых величинах». Проблемы, таким образом, заключаются в поразительной установке, в двойной морали, в да-нет «предписания о допустимых величинах». При этом речь идет уже не об этике, а о том, до какой границы можно нарушать самые минимальные правила совместной жизни, а именно не травить себя. В конечном итоге речь идет о том, как долго отравление не считать отравлением и с какого момента его считать таковым. Это, без сомнения, важный вопрос, слишком важный, чтобы отдавать его на откуп одним только экспертам по ядовитым веществам. От ответа на него самым непосредственным образом зависит жизнь на этой земле. Если вступить однажды на скользкую покатуую плоскость «допустимого отравления», вопрос о том, какое количество яда допустимо, приобретает смысл, сведенный некогда юным Гамлетом к альтернативе – «быть или не быть». Такой исход заложен и в «предписании о допустимых величинах» – весьма необычном документе нашей

эпохи. Но речь сейчас не об этом. Давайте сами вступим на почву определения допустимых величин и поинтересуемся его логикой или алогичностью, то есть зададимся вопросом, может ли вообще это определение знать, на знание чего оно претендует.

Когда допускают отравление, возникает нужда в допустимых величинах. Тогда то, чего в этом предписании нет, становится важнее того, что в нем есть. Ибо то, чего в нем нет, им не охвачено, *не считается ядом* и может *свободно и беспрепятственно вводиться в обращение*. Молчание предписания, его «белые пятна» – вот самое опасное содержание этого документа. Больше всего нам угрожает то, о чем в нем не говорится. Благодаря предписанию о допустимых величинах одним из первых направлений на пути к долгосрочному отравлению человека и природы становятся *дефиниции пестицидов* и то, что из этих дефиниций исключается. Спор о дефинициях, пусть даже он и ведется на внутриакадемическом уровне, чреват ядовитыми последствиями для всех. Все, что противоречит понятийной систематизации, поскольку феномены еще недостаточно исследованы или настолько сложны, что выходят за рамки понятийной системы и нуждаются в дальнейшем изучении, тем не менее охватывается претензиями на дефиницию *и посредством неупоминания освобождается от подозрений на ядовитость*. В основе «предписания о допустимых величинах», следовательно, лежит в высшей степени сомнительное, опасное и *ложное технократическое заключение*: что еще не изучено или не поддается изучению, не ядовито. Эту мысль можно выразить и по-другому: пожалуйста, оберегайте яд от способного нанести ему вред человека.

Волею случая (!?) получилось так, что предписание о допустимых величинах в ФРГ содержит в сравнении с другими странами *огромные лакуны*. В этом документе не названы целые семейства ядов, поскольку они не фигурируют в законе «о пестицидах». Продолжение списка вредных веществ по содержанию и по времени безнадёжно отстаёт от производства и использования химических веществ. Американское ведомство по защите окружающей среды много лет назад предостерегало от переоценки *изученных* параметров вредных веществ относительно бесчисленного количества химикалиев, токсичность которых не выяснена, концентрация не определена и потенциальное действие которых не может быть уменьшено никакими предписаниями. Указывалось на добрых четыре миллиона химических соединений, число которых постоянно растёт. «Мы очень мало знаем о возможных последствиях для здоровья, вызванных действием этих новых соединений,... но их количество, многообразие их применения и уже проявившийся негативный эффект от использования некоторых из них с нарастающей очевидностью доказывают, что вредные химические вещества в окружающей среде – заметный фактор для здоровья и жизненных ожиданий человека» (Environmental Quality – 1975, 6. Bericht des GEQU, Washington, S. 326. Цит. по: M. Jaenicke, Was das Industriesystem von seinen Missstaenden profitiert, S. 60).

Если новые соединения и принимаются иногда во внимание, то длится это от трех до четырех лет. Все это время потенциально опасные вещества могут распространяться беспрепятственно.

Можно продолжать перечисление этих лакун умолчания. Как вообще можно *устанавливать допустимые величины на основе отдельных субстанций*, остается тайной авторов предписания. Думается, что при исчислении предельно допустимых величин речь может идти о воображаемых границах переносимости ядов *человеком и природой*. Но человек и природа *впитывают* в себя все возможные вредные и ядовитые вещества из воздуха, воды, почвы, продуктов питания, мебели и т.д. Кто действительно хочет определить границы переносимости, должен все это *суммировать*. Кто тем не менее устанавливает эти границы для отдельных веществ, тот исходит из вводящего в заблуждение предположения, что человек глотает только этот яд, или же

из-за своего научно-исследовательского подхода вообще лишается возможности сколько-нибудь верно судить о допустимых величинах для человека. Чем больше вредных веществ находится в обращении, чем больше допустимых величин установлено для отдельных веществ и чем либеральнее они фиксируются, тем бессмысленнее весь этот обман с предельно допустимыми уровнями, так как общая токсическая угроза населению растет, если просто предположить, что общее количество различных ядовитых веществ вызывает повышенную опасность отравления.

Точно так же можно вполне обоснованно говорить и об *общем действии* отдельных ядов. Допустим, я знаю, что тот или иной яд в той или иной концентрации вреден или безвреден, но если я совершенно ничего не знаю о том, какую реакцию вызывает общее действие всех этих остаточных ядов, то какая мне польза от моего знания? Из области медицины известно, что медикаменты, взаимодействуя, теряют или накапливают свои свойства. Не лишено смысла предположить, что нечто подобное происходит и с многочисленными частичными отравлениями, допускаемыми предельными величинами. Предписание не дает ответа и на этот центральный вопрос.

Логический сбой в том и другом случае не случаен, он вытекает из проблем, которые возникают всякий раз, когда вступаешь на скользкую почву частичных отравлений. Это же просто издевательство и цинизм, когда, с одной стороны, определяют предельные величины и тем самым частично открывают дорогу отравлениям, а с другой стороны вообще не дают себе труда задуматься над тем, каковы последствия суммирования ядов в их взаимодействии. Это похоже на то, как если бы многочисленная банда отравителей в присутствии жертв с невинной миной доказывала судьям, что каждый из них не перешагнул допустимую границу частичного отравления и потому подлежит оправданию!

Многие могут сказать: то, на чем вы настаиваете, прекрасно, но невыполнимо, принципиально невыполнимо. У нас имеется только одна специализированная область знания об отдельных вредных веществах. И она страшно отстает от промышленного распространения химических соединений. Нам недостает персонала, исследовательских кадров и т.д. и т.п. Но что значат подобные объяснения? Предлагаемые знания о допустимых величинах не становятся от этого ни на йоту лучше. Установление допустимых величин для отдельных веществ так и останется очковтирательством, если одновременно открывать дорогу тысячам вредных веществ, совершенно замалчивая их суммарное действие!

Если тут действительно ничего нельзя изменить, тогда нужно ни много ни мало заявить, что система высшей профессиональной специализации и ее официальные инстанции проявляют полную *несостоятельность* перед лицом рисков, возникающих в результате промышленного развития. Она годится для развития производительности, но не для предотвращения опасности. Людям, которые поневоле оказываются в ситуациях риска, угрожают не отдельные вредные вещества, а их *совокупность*. Отвечать населению на навязанный ему вопрос о *совокупной* угрозе с помощью таблиц допустимых величин для отдельных вредных веществ равносильно коллективному издевательству с уже отнюдь не латентными убийственными последствиями. Такая ошибка была бы допустимой в эпоху всеобщей веры в прогресс. Но настаивать на ней сегодня, когда множатся протесты и угрожающе растет статистика заболеваний и смертей, причем под узаконенным прикрытием «допустимых величин», означает разрушение границ кризиса веры, вынуждает обращаться к прокурору.

Но оставим эти размышления в стороне. Рассмотрим научную структуру допустимой величины. Разумеется, чисто логически. Скажем коротко: в основе каждого определения допустимой величины лежат по меньшей мере два ложных умозаключения. Во-первых, ошибка происходит, когда результаты опытов над животными переносятся на человека. Возьмем яд Севезо ТСДД (см.: Umweltbundesamt, Berichte

реносятся на человека. Возьмем яд Севезо ТСДД (см.: Umweltbundesamt, Berichte 5/1985, а также M. Urban, Wie das Sevesogift wirkt, in SZ, 30.5/1985). Он появляется при производстве большого количества химических продуктов, например, средств защиты древесины, гербицидов и средств дезинфекции. Кроме того, он образуется при сжигании мусора, и чем ниже температура этого процесса, тем больше образуется яда. Доказано, что этот яд производит канцерогенное действие на два вида животных. Им давали эту мерзость. А теперь ключевой методологический вопрос из цивилизационной кухни ядов: сколько способен выдержать человек? Уже маленькие животные реагируют по-разному. Морские свинки, например. В *десять-двадцать* раз выносливее мышей и *от трех до пяти тысяч* раз чувствительнее хомяков. Результаты опытов на львах еще не обнародованы, к слонам уже присматриваются...

До сих пор остается тайной жонглеров допустимыми величинами, каким образом на основании этих данных можно судить о переносимости ядов человеком. Не будем говорить о «человеке» вообще. Возьмем грудных малышей, детей, пенсионеров, эпилептиков, торговцев, беременных женщин, живущих вблизи и вдали от фабричных труб, альпийских крестьян и жителей Берлина, упакуем в один серый мешок и назовем «человеком». Предположим, что лабораторная мышь точно так же реагирует на яд, как и церковная. Тогда все еще остается вопрос: как добраться от пункта А до пункта Б, от крайне неодинаковых реакций до совершенно неизученных реакций человека?

Если хочешь сократить путь, нужно действовать *по принципу игры в лото* – пометить крестиком и ждать. Как и при игре в лото, здесь тоже имеется свой «метод». При определении допустимых величин он называется «фактором безопасности». Что такое фактор безопасности? Ответ на этот вопрос дает «практика» (см.: Hoeschtmengen, Natur 4/1985, S. 46-51). Итак, не только пометить крестиком, но и ждать. Но для этого не надо было мучить животных. Повторю еще раз: только люди с даром *ясновидения* могут определить «допустимую» дозу яда для человека вообще, опираясь на результаты экспериментов на животных, полученные в *искусственных* условиях, способные дать ответ на *ограниченный* круг вопросов и нередко выявляющие резкие колебания реакций. Те, кто определяет допустимые величины, – это ясновидящие, люди с «третьим глазом», позднеиндустриальные химические маги, болтающие о сериях опытов и коэффициентах. Даже при самом доброжелательном рассмотрении все это не что иное, как обстоятельный, многословный и обильно оснащенный цифрами способ сказать: мы тоже этого не знаем. Надо подождать. Практика покажет. Так мы подошли ко второму пункту.

Без сомнения, предельно допустимые величины выполняют функцию *символического* обеззараживания. Одновременно это и успокоительные таблетки против множасьих сообщений об отравлениях. Они сигнализируют о том, что кто-то трудится и бдит. *Фактически* приходится устанавливать порог для опытов на человеке немного выше. Тогда уж наверняка не ошибешься. *Ведь выяснить, как действует яд, можно только в том случае, если он попадет в обращение.* Именно здесь и кроется второе ошибочное умозаключение, которое уже можно считать скандальным.

Действие яда на человека можно в конечном счете достоверно исследовать только на самом человеке. Не будем вдаваться в вопросы этики, а сосредоточим внимание на экспериментальной логике. Яд попадает к людям всеми мыслимыми путями: через воду, воздух, пищевые цепи, цепи промышленных товаров и т.д. И что из того? Где тут ложное умозаключение? Вот именно: его нет. Эксперимент на человеке, который вроде бы проводится, не проводится вовсе. Точнее, он все-таки проводится, так как люди и подопытные животные получают яд в определенных дозах. А не проводится он в том смысле, что допустимые для человека дозы систематически увеличиваются. Хотя то, как действуют яды на подопытных животных, для человека не имеет значения, результаты опытов тщательно протоколируются и соотносятся с

другими подобными опытами. Реакции, вызываемые у человека, вообще не принимаются во внимание – разве что кто-нибудь сам придет к ученым и сможет доказать, что ему причиняет вред именно *этот* яд! Опыты на человеке хотя и проводятся, но невидимо, *без систематического научного контроля, без сбора данных, без статистики, без анализа взаимосвязей*, в условиях, когда жертвы ни о чем *не догадываются*. А если догадываются, то в ход идут доказательства *обратного*.

Дело ведь не в том, что *невозможно* узнать, как действуют на человека яды в отдельности или совокупно, а в том, что этого *не хотят знать*! Пусть люди выясняют это сами! Затеяно нечто вроде длительного эксперимента, в котором человек в роли подопытного животного вынужден сам собирать и использовать данные о своих симптомах отравления *вопреки* экспертам, которые в ответ только недоверчиво морщат лоб. Даже уже собранные статистические данные о болезнях, умирании лесов и т.д., судя по всему, представляются магам допустимых величин не имеющими достаточной силы.

Речь, таким образом, идет о длительном масштабном эксперименте с обязательной повинностью подопытного человечества докладывать о своих симптомах отравления, которые уже потому не принимаются во внимание, *что существуют допустимые величины, и эти величины не были нарушены!* Предельные величины, которые можно было бы установить только на основе реакций человека, держатся на высоком уровне, чтобы не принимать во внимание страхи и болезни подопытных людей. И все это во имя «научной рациональности»! Проблема не в том, что акробаты допустимых величин этого не знают. Признание ими своего невежества было бы благом для всех. Самое неприятное и опасное заключается в том, что они этого не знают, но делают вид, будто знают, и догматически настаивают на своем сомнительном «знании» даже там, где они давно уже могли бы кое-что узнать.

Разрывы в научной рациональности

Осознание рисков в развитой индустриальной цивилизации отнюдь не славная страница в истории естественных наук. Оно возникло вопреки затаенному отрицанию наукой и по-прежнему ею подавляется; вплоть до сегодняшнего дня большинство ученых придерживается противоположной точки зрения. Наука стала *ревнительницей охватившего весь мир заражения человека и природы*. Поэтому не будет преувеличением сказать, что своим отношением к цивилизационным рискам наука во многих отраслях знания пока что утратила свое историческое право на рациональность. «Пока что» означает, что о возвращении доверия науке можно будет говорить только тогда, когда она осознает свои теоретические и институциональные ошибки и недочеты в обращении с рисками и научится самокритично делать из них практические выводы (подробнее об этом см. главу VII).

Повышение производительности сопряжено с философией все более разветвленного разделения труда. Риски, напротив, характеризуются *объединяющим* моментом. То, что разделено содержанием, временем и пространством, они приводят в непосредственную и опасную взаимосвязь. Они легко просеиваются через сито узкой специализации. Они суть то, что лежит *между* специальностями. Преодоление рисков требует широкого обзора поверх всех тщательно установленных и охраняемых границ. Риски не признают разделения между теорией и практикой, между специальностями и дисциплинами, не признают узко специализированных компетенций и институциональной ответственности, различения между фактом и его оценкой (и тем самым между естественными науками и этикой), не признают кажущегося разграничения сфер политики, общественности, науки и экономики. Устранение дифференциации подсистем и функциональных сфер, создание новой сети специалистов, объе-

динение усилий, направленных на локализацию угроз, становятся в обществе риска кардинальной системно-теоретической и организационной проблемой.

В то же время беспрепятственное производство рисков подрывает изнутри авторитет предприятий с высокой производительностью труда, на которые ориентируется научная рациональность. Традиционная, подавляющая симптомы и заботящаяся только о производстве политика защиты окружающей среды не в состоянии длительное время соответствовать *как* экологическим, *так* и экономическим масштабам риска. С экологической точки зрения она все время плетется в хвосте отравляющего окружающую среду производственного процесса; с точки зрения экономики встает проблема растущих расходов на санацию со все менее заметными экологическими результатами. В чем причина этой двойной неэффективности?

Основная причина состоит, вероятно, в том, что традиционная политика защиты экологии приступает к делу в конце производственного процесса, а не в его начале, то есть при выборе технологий, сырья, вспомогательных материалов, топлива и конечного продукта... Речь идет об экс-пост-санации с применением *end-of-the-pipe*-технологий, т.е. установок на конце фабричной трубы. Делается попытка до определенной степени избежать распространения вредных веществ и отходов производства с помощью уже имеющихся вредных для окружающей среды технологий. Благодаря установке специальных приспособлений в конце производственного процесса потенциальные выбросы задерживаются и накапливаются в концентрированной форме на предприятии. Типичными примерами этого являются фильтрующие установки для улавливания вредных веществ (серы, вызывающих удушье газов) перед их попаданием во внешнюю среду, установки для устранения отходов производства, отстойники, а также катализаторы для выхлопных труб автомобилей, о чем сегодня ведутся горячие дискуссии...

Применительно к почти всем сферам окружающей среды можно говорить о том, что расходы по очистке (в смысле улавливания и накопления вредных веществ) растут *непропорционально* быстро в сравнении с *повышением* уровня очистки, что, кстати, касается и рециркуляции как способа производства. А это означает: с общеэкономической точки зрения при продолжающемся промышленном росте для обеспечения заданного уровня эмиссии *без* глубокой реструктуризации производства и технологий будет расходоваться постоянно растущая доля народнохозяйственных ресурсов, которую уже нельзя будет использовать в сфере потребления. В этом заключается опасность контрпродуктивного в целом развития индустриальной системы» (С. Leipert/U.E. Simonis, Arbeit und Umwelt, Forschungsbericht, Berlin 1985).

Технические науки все очевиднее встают перед *исторической цезурой*: или они продолжают мыслить и действовать на проторенных тропах XIX века, и тогда они не смогут отличить проблемные ситуации общества риска от ситуаций классического индустриального общества; или же они посвятят себя подлинному, превентивному преодолению рисков, и тогда им придется по-новому осмыслить и изменить собственные представления о рациональности, о познании и практике, а также соответствующие институциональные структуры (см. об этом гл. VII).

3. Общественное сознание рисков: отсутствующий опыт из вторых рук

Для научно-критического цивилизационного сознания имеет силу обратное утверждение: опираться в конечном счете приходится на то, против чего приводятся аргументы, откуда черпает свое оправдание научная рациональность. Скорее раньше, чем позже приходится сталкиваться с жесткой закономерностью: поскольку риски не признаны наукой, *они как бы не существуют* – во всяком случае в правовом, меди-

цинском, технологическом и социальном плане, следовательно, с ними не борются, ими не занимаются, их не обезвреживают. Тут не помогут никакие коллективные вопли и стоны. Помочь может только наука. Монополия на истину научного суждения вынуждает жертв использовать для осуществления своих претензий все средства и методы научного анализа. И одновременно их *модифицировать*. Проводимая ими демистификация научной рациональности имеет в этом смысле в высшей степени амбивалентное значение именно для критиков индустриализма: с одной стороны, необходимо сделать менее строгими научные притязания на истину, чтобы иметь возможность изложить собственную точку зрения. Люди знакомятся с рычагами научной аргументации и учатся устанавливать стрелки, благодаря которым можно отправлять поезд то в направлении уменьшения, то в сторону преувеличения опасности. С другой стороны, вместе с сомнительностью научного суждения растет и зона страха перед предполагаемыми, хотя и не признанными наукой опасностями. Раз все равно нельзя установить однозначные и окончательные причинные связи, раз наука маскирует свои ошибки, которые рано или поздно вскроются, раз «anything goes», откуда же появится право верить в одни риски и не верить в другие? Именно кризис научного авторитета может способствовать общему *затемнению вопроса о рисках*. В деле признания рисков критика науки тоже контрпродуктивна.

Соответственно осознание риска жертвами, которое заявляет о себе движением в защиту окружающей среды, выступлениями против индустриального общества, заключений экспертов, современной цивилизации, содержит в себе чаще всего и *критику* науки, и *веру* в нее. Солидный фон веры в науку – парадоксальная составляющая критики модернизации. Тем самым сознание риска нельзя считать ни традиционным, ни любительским, оно в значительной мере определяется наукой и ориентируется на нее. Чтобы воспринимать риски именно как риски и делать это частью своего образа мыслей и действий, нужно *верить* в существование скрытой связи между далеко отстоящими друг от друга в деловом, пространственном и временном отношении условиями и более или менее спекулятивными предположениями, нужно вырабатывать иммунитет против возможных контраргументов. Но это означает, что незримое, более того, принципиально не поддающееся восприятию, доступное лишь теоретическому осмыслению *становится в кризисном цивилизационном сознании лишенным какой бы то ни было проблематичности свойством личного мышления, восприятия и переживания*. Основанная на опыте логика обыденного мышления оборачивается своей противоположностью. Путь больше не ведет от собственных переживаний к обобщенным выводам, наоборот, не подкрепленное собственным опытом обобщенное знание становится определяющим центром собственного опыта. Чтобы можно было пойти против рисков на баррикады, химические формулы и реакции, невидимые вредные вещества, биологические круговороты и цепи реакций должны подчинить себе зрение и мышление. В этом смысле речь при осознании рисков идет уже не об «опыте из вторых рук», а о *невозможности* получения опыта из вторых рук». Более того: в конце концов *никто* не может знать о рисках, пока знание будет добываться опытным путем.

Спекулятивный век

Эта основная теоретическая черта кризисного сознания имеет *антропологическое* значение: цивилизационные угрозы ведут к возникновению своеобразного «царства теней», сравнимого с богами и демонами на заре человечества, царства, которое таится за видимым миром и угрожает жизни человека на этой земле. Сегодня мы имеем дело не с «духами», которые прячутся в вещах, мы подвергаемся «облучению», глотаем «токсические соединения», нас наяву и во сне преследует страх перед «атомным холокостом». Место антропоморфного толкования природы и окружаю-

щей среды заняло современное цивилизационное сознание риска с его не воспринимаемой органами чувств и тем не менее присутствующей во всем латентной причинностью. За безобидным фасадом скрываются опасные, враждебные человеку вещества. Все должно восприниматься в двойном свете и может быть понято и оценено только в этом двойном освещении. Видимый мир нужно пристрастно исследовать на скрытое присутствие в нем второй действительности. Масштабы оценки следует искать не в видимой, а в этой второй действительности. Кто просто потребляет вещи, принимает их такими, какими они кажутся, не задаваясь вопросом об их скрытой токсичности, тот не просто наивен – он недооценивает грозящую ему опасность и, оставаясь незащищенным, рискует своим здоровьем. Непосредственному наслаждению радостями жизни, простому существованию пришел конец. Всюду корчат рожи вредные и ядовитые вещества, бесчинствуя, словно черти в средневековье. Люди перед ними почти полностью беззащитны. Дышать, есть, пить, одеваться – значит повсюду сталкиваться с ними. Можно куда-нибудь уехать, но и это поможет, как мертвому припарка. Они поджидают тебя и там, куда ты направил свои стопы, их можно обнаружить даже в этой самой припарке. Подобно ежу, который соревновался с зайцем в беге, они всегда уже там. Их невидимость не означает, что они не существуют, наоборот, она предоставляет им бесчинствам неограниченные возможности, так как их мир находится в области невидимого.

Вместе с критическим сознанием риска на сцену мировой истории во всех сферах повседневной жизни вступает теоретически определенное сознание действительности. Взгляд подверженного вредным воздействиям современника направлен, подобно взгляду экзорциста, в невидимую точку. С обществом риска начинается *спекулятивный* век обыденного восприятия и мышления. Спор о противоположных интерпретациях действительности шел всегда. При этом в философии и научной теории действительность все в большей степени подвергалась теоретической интерпретации. Сегодня, однако, происходит нечто иное. В метафоре пещеры у *Платона* видимый мир – всего лишь тень, отблеск истины, которая принципиально недоступна возможностям человеческого познания. Тем самым видимый мир в целом обесценивается, но не исчезает из системы наших отношений. Нечто подобное можно сказать и о суждении *Канта*, что «вещи в себе» *принципиально* непознаваемы. Это направлено против «наивного реализма», который собственное восприятие удваивает и делает «вещью для себя». Но это ничего не меняет в том, что мир в наших глазах так или иначе все равно существует. Яблоко, которое я держу в руках, даже если оно только «вещь для меня», не становится менее румяным, круглым, отравленным, сочным и т.д.

Только когда предпринимаются шаги в сторону осознания цивилизационных рисков, обыденное мышление и воображение *освобождается от сцепления с миром видимого*. В споре о модернизационных рисках речь уже не идет о познавательнотеоретической ценности того, что нам дается в ощущениях. Скорее подвергается сомнению реальное содержание того, чего обыденное сознание *не замечает и не воспринимает* (радиоактивность, вредные вещества, угрозы для будущего). Эта теория, лишенная опоры на конкретный человеческий опыт, вынуждает спор о цивилизационных рисках балансировать на острие ножа и грозит превратиться в подобие «современного заклинания духов», манипулирующего средствами (анти)научного анализа.

Роль духов берут на себя невидимые, но вездесущие вредные и ядовитые вещества. Каждое из них имеет свои собственные отношения вражды со специальными противоядиями, свои ритуалы уклонения, формулы заклинания, свои предчувствия и уверенность в своих возможностях. *Раз невидимое получило допуск в наш мир, то скоро у нас будут не только духи вредных веществ, которые определяют мышление и жизнь людей*. Все это можно оспорить, развести по полюсам или свести воедино.

Возникают новые общности и противостоящие им сообщества, чьи взгляды на мир, нормы поведения и действия группируются вокруг центров невидимых опасностей.

Солидарность живых существ

В основе этой солидарности – *страх*. Что это за страх? Как он действует на образование тех или иных групп? На каком мировоззрении он основан? Впечатлительность и мораль, рациональность и ответственность, которые в процессе осознания рисков то нарушаются, то формируются снова, уже нельзя понять, основываясь на переплетении *рыночных* интересов, как это было в буржуазном и индустриальном обществе. Здесь отчетливо проявляются не ориентированные на конкуренцию собственные интересы, которые затем «невидимой рукой» рынка (Адам Смит) направляются на всеобщее благо. В основе этого страха и политических форм его проявления уже не лежит мысль о выгоде. Слишком легко и просто было бы видеть в нем и претензии самоутверждающегося разума, которые по-новому и непосредственно выражаются в нарушении естественных и гуманных основ жизни.

В сведенном воедино сознании жертв, которое находит самое общее воплощение в движении в защиту окружающей среды и в защиту мира, а также в экологической критике индустриальной системы дают себя знать совершенно новые слои опыта: там, где вырубают деревья и уничтожают целые виды животных, люди в некотором смысле тоже чувствуют себя затронутыми бедой, «пострадавшими». Угроза жизни, которую несет с собой развитие цивилизации, касается обобщенного опыта всей органической жизни, связывающего жизненные потребности человека с потребностями растений и животных. Когда умирают леса, человек ощущает себя «естественным существом с моральными притязаниями», подвижной, ранимой вещью среди других вещей, естественной частицей находящегося в опасности природного *целого*, за которое он в ответе. Затрагиваются и пробуждаются слои *гуманного сознания природы*, которые снимают, устраняют дуализм между телом и духом, природой и человеком. В состоянии опасности человек узнает, что он дышит, подобно растению, и не может жить без воды, подобно рыбе. Угроза отравления вынуждает его почувствовать, что он и его тело сопричастны другим вещам, что он представляет собой «процесс обмена веществ, наделенный сознанием и моралью», и может разрушаться от кислотного дождя, как разрушаются камни и деревья. Становится ощутимой общность между почвой, растениями, животными и человеком, «солидарность живых существ», которая в опасной ситуации в одинаковой мере затрагивает все и всех (см.: R. Schuetz, 1984).

«Общество козлов отпущения»

Подверженность опасности отнюдь не всегда выливается в осознание риска, она может спровоцировать нечто прямо противоположное – *отрицание опасности из страха перед ней*. Благодаря этой возможности самостоятельно вытеснять мысль об опасности отличаются друг от друга и переплетаются распределение богатств и распределение рисков. Голод нельзя утолить утверждением, что ты сыт, опасность, напротив, можно интерпретировать так, будто ее не существует (пока она не проявит себя). Когда испытываешь материальную нужду, реальная подверженность опасности и субъективное восприятие, переживание ее составляют нераздельное целое. Иное дело риск. Для него характерно то, что именно подверженность опасности *может обусловить* нежелание ее осознавать. С ростом опасности *растет* и вероятность ее непризнания, преуменьшения серьезности ситуации.

На это есть свои причины. Риски появляются благодаря знанию и поэтому могут быть преуменьшены, преувеличены или просто вытеснены с поверхности созна-

ния. То, что для голода пища, для осознания риска – его устранение *или интерпретация, ведущая к вытеснению из сознания*. Поскольку устранить риск (для себя) никто не может, растет значение ложной интерпретации. Процесс осознания рисков, таким образом, всегда *обратим*. За тревожными временами и озабоченными поколениями следуют другие, для которых страх, вызванный разговорами об опасности, – основной сдерживающий фактор их мыслей и переживаний. Опасности загоняют в огороженную знанием клетку (всегда лабильного) «несуществования», и потомки могут потешаться над тем, что так волновало их «предков». Угроза атомного оружия с его чудовищной разрушительной силой тут ничего не меняет. Восприятие этой опасности резко колеблется то в одну, то в другую сторону. Люди десятилетиями учатся «жить с бомбой». Потом вдруг какая-то сила выводит миллионы людей на улицу. Беспокойство и успокоение могут иметь одну и ту же причину: невозможности представить масштабы опасности, с которой приходится жить.

В отличие от голода и нужды, в случае с рисками возникающие страхи и тревогу легче переводить в другое русло. Здесь обнаруживается то, что не может быть преодолено, от чего можно только тем или иным способом отвлечься, искать и находить символические места, объекты и личности для подавления своего страха. В осознании рисков распространены и пользуются особым спросом *смещенные* мысли и действия, *смещенные* социальные конфликты. С ростом опасности и при одновременном политическом бездействии в обществе риска появляется имманентная тенденция стать «обществом козлов отпущения»: не опасности виноваты, а те, кто их вскрывает и сеет в обществе беспокойство. Разве очевидное изобилие не опровергает существование невидимых опасностей? Разве весь этот шум – не выдумки интеллектуалов, не утка, слетевшая с письменного стола умствующих бандитов и драматургов риска? Не скрываются ли за всем этим шпионы ГДР, коммунисты, евреи, арабы, женщины, мужчины, турки, обитатели ночлежек? Именно неуловимость угрозы и беспомощность перед ней способствуют распространению радикальных и фанатичных настроений и политических течений, которые делают социальные стереотипы и подверженные им группы населения «громоотводами» опасностей, скрытых от непосредственного восприятия и воздействия.

***Как обходиться с неуверенностью:
ключевая биографическая и политическая квалификация***

Для выживания в старом индустриальном обществе главную роль играет способность справиться с материальной нуждой, избежать социального краха. Мысли и действия направлены на достижение коллективной цели «классовой солидарности», а также индивидуальных целей в получении образования и делании карьеры. В обществе риска наряду с этими жизненно необходимы и другие способности. Существенное значение приобретает способность *предвосхищать опасности, переносить их, обращаться с ними на биографическом и политическом уровне*. Страх перед снижением социального уровня, классовое сознание или ориентация на успех, с чем мы более или менее научились обходиться, уступают место другим центральным вопросам. Как вести себя перед лицом *предуготованной* нам судьбы с ее страхами и тревогами? Как преодолеть страх, если мы не в силах справиться с причиной этого страха? Как жить на цивилизационном вулкане, не забывая об опасности и не задохнувшись от страха, а не только от выделяемых этим вулканом вредных испарений? Теряют свое значение традиционные институциональные формы преодоления страха и неуверенности в семье, браке, во взаимоотношениях между полами, в классовом сознании и связанных с ними политических партиях и организациях. В то же время субъекты должны научиться преодолевать страх и неуверенность. Из этого нарастающего принуждения к *самостоятельному* преодолению неуверенности раньше или позже

должны возникнуть новые требования к общественным институтам в сфере образования, терапии и политики (см. об этом главу II). Таким образом, в обществе риска обхождение со страхом и неуверенностью становится в биографическом и политическом плане *ключевой цивилизационной квалификацией*, а выработка соответствующих способностей – существенной задачей педагогических учреждений.

4. Политическая динамика признанных модернизационных рисков

Умирание лесов с самого начала показало: там, где модернизационные риски успешно прошли процесс социального осознания и признания, *меняется миропорядок* – даже если первоначально на деле предпринимается еще очень немногое. Рушатся рамки специализированных компетенций. Общественность вмешивается в технические детали. Предприятия, которые долгое время в полном согласии с рыночными отношениями, благодаря своим налоговым благодеяниям и предоставлению людям рабочих мест пользовались всеобщей любовью, вдруг обнаруживают себя на скамье подсудимых, точнее, пригвожденными обществом к позорному столбу и вынужденными отвечать на примерно те же вопросы, что и схваченные раньше на месте преступления отравители.

Вот если бы так все и было. На деле обрушиваются рынки, растут расходы, множатся разного рода запреты, судебные преследования, возникает острая необходимость коренного переустройства производственной системы – а избиратели бегут неизвестно куда. Все вдруг заговорили о том, что, казалось, входило в компетенцию посвященных, – о технических, экологических и юридических деталях, оперируя при этом отнюдь не схожими или сравнимыми аргументами, а выступая в защиту совершенно новой системы отношений: экономические и технологические подробности освещаются с точки зрения *новой экологической морали*. Кто объявил крестовый поход против вредных веществ, тот должен подходить к предприятиям с морально-экологической лупой. В первую очередь те, кто осуществляет контроль за производством, точнее, должен осуществлять, а потом уже и те, кто получает выгоду от систематически допускаемых в этой сфере ошибок.

Где модернизационные риски «признаны» – а для этого нужно многое, не просто знание, а *коллективное* знание о них, вера в их существование, а также политическое освещение связанных с ними последствий и причинных цепей, – там возникает беспрецедентная политическая динамика. Риски лишаются всего – латентности, отвлекающей «структуры побочных последствий», неотвратимости. Вдруг оказывается, что возникающие проблемы не подлежат оправданию, что они требуют немедленных и решительных действий. За условиями производства, за производственной необходимостью проступают конкретные личности, *инициаторы*, вынужденные давать объяснения. «Побочные последствия» заявляют о себе, предстают перед судом, добиваются признания, не позволяют от себя отмахиваться. И мир преобразуется.

То, что пришло в движение, можно, разумеется, задержать, препятствуя признанию рисков. Это еще раз проливает свет на то, что, собственно, поставлено на карту. В процессе признания модернизационных рисков решающую роль играют не (или не только) последствия для здоровья, для жизни растений, животных и людей, а социальные, экономические и политические побочные последствия этих побочных последствий: обвал рынков, обесценение капитала, скрытое отчуждение, новое распределение ответственности, изменения в структуре рынка, признание претензий на возмещение ущерба, гигантские расходы, судебные процессы, потеря лица.

Экологические и медицинские последствия могут быть гипотетическими, их можно по желанию оправдывать, представлять в безобидном свете или драматизиро-

вать. Там, где в них *поверили*, они будут иметь названные выше социальные, экономические и политические результаты. Иными словами, если люди воспринимают риски как реальность, они расшатывают социальную, политическую и экономическую структуру компетенций. С признанием модернизационных рисков под воздействием растущей опасности образуется своеобразный политический воспламенитель. То, что было возможным еще вчера, сегодня сталкивается с преградами. Кто нынче преуменьшает серьезность умирания лесов, должен считаться с тем, что его публично упрекут в цинизме. «Приемлемая нагрузка» превращается в «недопустимые источники опасности». Что еще недавно находилось вне сферы влияния политики, сегодня в эту сферу попадает. Становится очевидной *относительность* предельно допустимых величин и *политически недоступных переменных*. По-новому обозначаются значения и границы политического и неполитического, необходимого и возможного, заданного и подлежащего оформлению. Прочные технико-экономические «константы» – например, эмиссия вредных веществ, «невозможность отказа» от ядерной энергии – превращаются в политически подвижные переменные величины.

При этом речь идет уже не только о традиционных инструментах политики – политико-экономическом регулировании рынка, перераспределении доходов, социальных гарантиях, но и об инструментах *неполитических*. Устранение причин опасности модернизационного процесса *само приобретает политический характер*. Вопросы, относящиеся к сфере компетенции производственного менеджмента (состав выпускаемого продукта, способ производства, вид используемой энергии, устранение отходов), превращаются сегодня в горячие проблемы *правительственной политики*, которые в глазах избирателей конкурируют с проблемой массовой безработицы. С ростом опасности прежние неотложные необходимости тают, а параллельно возрастает роль *направляющей политики чрезвычайного положения*, которая черпает из угрожающей ситуации новые компетенции и возможности вмешательства. Там, где опасность стала нормой, она надолго приобретает институциональный характер. Так модернизационные риски готовят плацдарм для перераспределения власти – иногда с сохранением формальных компетенций, иногда с их кардинальным изменением. Чем быстрее растут модернизационные риски, тем очевиднее появляется угроза основным ценностям человеческого сообщества, и чем яснее это осознается людьми, тем глубже потрясается отлаженная, базирующаяся на разделении труда структура власти и компетенций в ее отношениях с экономикой, политикой и ответственностью, тем очевиднее становится, что под воздействием растущей опасности должна по-новому распределяться ответственность, а все детали модернизационного процесса должны подвергаться бюрократическому контролю и планированию. *Постепенные системные изменения осуществляются в действии*, в процессе признания модернизационных рисков и нарастания содержащейся в них опасности. Происходит это не в форме открытой, а в форме «тихой революции», как следствие изменений в сознании *всех*, как переворот *без субъекта, без смены элит*, при сохранении старого порядка.

При необузданном развитии цивилизации создаются условия для квази-революционных ситуаций. Они возникают как обусловленная модернизацией «цивилизационная *судьба*», то есть, с одной стороны, под прикрытием «стандартов», с другой стороны, с ростом *чреватого катастрофами потенциала*, который вполне может достичь политического радиуса революционной ситуации и превзойти его. Общество риска, следовательно, не революционное общество, а нечто худшее – *общество катастроф*. В нем *чрезвычайное положение* грозит стать *нормой жизни*.

Из немецкой истории этого века мы слишком хорошо знаем, что случившаяся или возможная катастрофа – отнюдь не лучший учитель в деле укрепления демократии. Насколько противоречивой и взрывоопасной может быть возникшая ситуация, невольно и поучительно проявилось в экспертном заключении «мудрых защитников

окружающей среды». Правдоподобность обрисованных в этом заключении опасностей для жизни растений, животных и человека как бы «уполномочивает» авторов с чистой совестью экологической морали прибегать к языку, который прямо-таки кишит выражениями типа «контроль», «официальное разрешение», «под правительственным надзором». Примечательно, что в зависимости от тяжести нагрузки на окружающую среду этот документ требует соответственно далеко идущих возможностей и прав вмешательства, планирования и регулирования (S. 45). В нем речь идет о расширении системы информации в «сельском хозяйстве» (там же), в нем выдвигаются требования «широкого ландшафтного планирования» с «биотопной картографией» и «концепциями по защите территорий»; эти требования базируются на «точных, научно обоснованных данных по мелким земельным участкам и должны осуществляться в борьбе «с конкурирующими притязаниями на использование угодий» (S. 48 ff.). Ради проведения в жизнь своей политики «ре-природизации» (S. 51) совет рекомендует «лишить собственников права использовать ... наиболее ценные территории в хозяйственных интересах» (S. 49). Фермеров необходимо «за плату ... побуждать к отказу от определенных форм использования земли или к проведению необходимых природоохранных мероприятий» (S. 49). В нем говорится о получении «разрешений на внесение удобрений», о соответствующем определении вида удобрений, масштабов и сроков их внесения» (S. 53). Это «плановое внесение удобрений» (S. 59) требует, как и другие «природоохранные мероприятия», дифференцированной системы контроля на производственном, региональном и надрегиональном уровне (S. 61), а также «коррекции и дальнейшего развития типовых юридических условий» (S. 64). Короче, в нем набрасывается панорама *научно-бюрократического авторитаризма*.

Образ крестьянина, столетиями считавшегося «кормильцем» и добывавшего из земли «плоды», от которых зависела жизнь всех людей и ее продолжение, начинает превращаться в свою противоположность. Сельскому хозяйству угрожает перспектива превратиться в место кругооборота ядов, угрожающих жизни растений, животных и людей. Чтобы избежать надвигающейся опасности, на достигнутом высоком уровне сельскохозяйственного производства требуется отчуждение собственности и/или вникающее во все детали планирование и контроль под протекторатом науки. Поражают не только эти требования (и даже не безапелляционность, с которой они провозглашаются). Поражает то, что они обосновываются *логикой защиты от опасности*; ввиду нарастания опасности будет очень трудно найти им *политическую альтернативу*, которая смогла бы действительно сделать то, на что претендует диктатура опасности.

Именно с ростом опасности в обществе риска возникают совершенно новые *требования к демократии*. Общество риска несет в себе тенденцию к «легитимному» тоталитаризму с целью защиты от опасности, который, чтобы избежать худшего, давно известным способом творит наихудшее. Политические «побочные последствия» «побочных» цивилизационных «действий» угрожают самой сути политико-демократической системы. Она оказывается перед худым выбором – или оказаться несостоятельной перед лицом систематически производимых опасностей, или под натиском авторитарных дисциплинарно-государственных «опорных точек» аннулировать основные демократические принципы. Разрушить эту альтернативу – одна из важнейших задач демократического образа мыслей и действий в наступающем будущем общества риска (см. об этом гл. VIII, с. 300 и сл.).

5. Виды на будущее: природа и общество на исходе XX века

С индустриально форсированным разрушением экологических и природных основ жизни освобождается не знающая аналогов в истории, до сих пор совершенно не изученная общественная и политическая динамика, которая, последовательно развиваясь, побуждает к переосмыслению отношений между природой и обществом. Этот тезис нуждается в обобщающем теоретическом объяснении. Чтобы заглянуть в будущее, попытаемся в заключение наметить несколько направляющих вех и указателей.

Преыдушие размышления в их совокупности означают *конец противопоставления природы и общества*. Это значит, что природа уже не может быть понята без общества. А общество без природы. Общественные теории XIX века (и их модификации в XX веке) мыслили природу в основном как нечто заданное, навязанное, должностующее подчиняться человеку, то есть как нечто противостоящее обществу, чуждое ему, как *не-общество*. Процесс индустриализации не только устранил это подчинение, но и *исторически фальсифицировал* его. В конце XX века природа уже не нечто заданное и навязанное, она превратилась в продукт истории, стала в процессе естественной репродукции разрушенной или находящейся под угрозой разрушения декорацией цивилизованного мира. Но это означает, что разрушение природы, интегрированное в универсальную циркуляцию промышленного производства, перестало быть *просто* разрушением природы, а превратилось в интегральную составляющую общественной, экономической и политической динамики. Незамеченным побочным эффектом обобществления природы стало *обобществление разрушения природы и нанесения ей ущерба*, превращение ее в экономические, социальные и политические противоречия и конфликты: нарушение естественных условий жизни оборачивается глобальными медицинскими, социальными и экономическими угрозами для человека – с совершенно новыми требованиями к социальным и политическим институтам высоко индустриализованного мирового сообщества.

Именно это превращение цивилизационных угроз природе в угрозы социальной, экономической и политической системе является реальным вызовом настоящему и будущему, который оправдывает понятие общества риска. В то время как понятие классического индустриального общества базируется на противопоставлении природы и общества (в духе XIX века), понятие (индустриального) общества риска исходит из «природы», интегрированной в цивилизацию, при этом следует постоянно иметь в виду метаморфозу нанесения ей ущерба отдельными общественными системами. То, что называется «нанесением ущерба», подлежит в условиях индустриализованной второй природы, как было показано выше, научным, антинаучным и социальным дефинициям. Эта контроверза была прослежена нами на примере возникновения и осознания *модернизационных рисков*. Это означает, что «модернизационные риски» являются тем понятийным оформлением, категориальным обрамлением, в котором общество воспринимает разрушение имманентной цивилизации природы, делает выводы о значении и необходимости этого разрушения, а также выносит решение о вытеснении и/или обработке этих рисков. Они суть подкрепленная наукой «вторая мораль», в рамках которой на принципах общественной «легитимности», то есть с претензией на деятельный выход из затруднительного положения, ведутся переговоры о нанесении ущерба опустошенной промышленностью природе, которая и природой-то больше не является.

Центральный вывод: общество со всеми его системами – экономической, политической, семейной, культурной – в современном мире уже нельзя воспринимать как нечто «автономное», независимое от природы. Экологические проблемы – это не проблемы окружающей среды, а в своем генезисе и последствиях целиком *общественные проблемы, проблемы человека*, его истории, условий его жизни, его отноше-

ния к миру и реальной действительности, его экономических, культурных и политических воззрений. Индустриально преобразенную «внутреннюю природу» цивилизованного мира следует воспринимать не как *окружающую* среду, а как *внутреннюю среду*, относительно которой наши возможности дистанцирования и разграничения проявляют свою *несостоятельность*. На исходе XX века становится ясно, что природа – это общество, а общество – и «природа» тоже. Кто воспринимает сегодня природу вне общества, тот пользуется категориями другого столетия, которые на нашу действительность уже не распространяются.

Сегодня мы повсюду имеем дело с чрезвычайно сложным искусственным продуктом, с искусственной «природой». В ней не осталось абсолютно ничего от «естественного», если под «естественным» понимать состояние, когда природа предоставлена самой себе. К артефакту «природа», который естествоиспытатели изучают с профессиональным терпением, они тоже относятся отнюдь не только как ученые. В своих действиях и выводах они – *эзекуторы* притязаний общества на овладение природой. Когда они в одиночку или в просторных лабораториях склоняются над объектом своего исследования, через плечо им в известном смысле заглядывают все. Когда они что-то делают руками, это руки учреждения и в известной мере и наши руки. И то, что исследуется ими как «природа», – это внутренняя, включенная в цивилизационный процесс «вторая природа», и как таковая она основательно нагружена и перегружена далекими от «естественности» функциями и значениями. Что бы в этих условиях ученые ни делали, измеряя, расспрашивая, предполагая, проверяя, они способствуют *укреплению* или, наоборот, *ослаблению* здоровья, экономических интересов, имущественных прав, компетенций и властных полномочий. Иными словами, природа, поскольку она циркулирует и используется внутри системы, в умелых руках естествоиспытателей тоже обретает *политический* характер. Результаты исследований, к которым не примешано ни одно оценочное слово, ни один, даже совсем маленький нормативный восклицательный знак, которые предельно деловито копошатся в пустыне сплошной цифири, которым от души порадовался бы Макс Вебер, могут обретать политическую взрывную силу, абсолютно недостижимую с помощью апокалиптических формулировок социологов, философов и этиков.

Поскольку предмет их науки несет на себе такую общественную «нагрузку», естествоиспытатели работают в *сильном политическом, экономическом и культурном магнитном поле*. Они это чувствуют и реагируют на это в своей работе – в определении методов измерения, выводах относительно переносимости, наблюдении за причинными гипотезами и т.д. Их пером вполне могут водить силовые линии этого магнитного поля. Они обращают внимание только на те следы, которые поддаются объяснению. Эти силовые линии могут быть также тем источником, из которого берут энергию вспыхивающие при определенной направленности аргументации красным светом лампочки, препятствующие карьерному росту. Это всего лишь симптомы того, как в условиях обобществленной природы общественные и технические науки, внешне сохраняя объективность, становятся под прикрытием цифр филиалами политики, этики, экономики и права (см. об этом главу VII).

Тем самым естественные науки оказываются в ситуации, которая давно уже знакома общественным наукам с их и без того политизированным «предметом» изучения. Одновременно происходит сближение этих наук, причем по иронии судьбы оно связано с политизацией предмета, а не с соединением общественно-научной полуправажности и естественнонаучной объективности, как можно было бы предположить. В будущем центральным для роли *всех* наук станет понимание необходимости *институционально усиленного и защищенного костяка, иначе вообще нельзя будет заниматься серьезными исследованиями*, и ученые не смогут брать на себя ответственность и выдерживать давление политических импликаций. Содержательное качество и политическое значение научной работы могут когда-нибудь совпасть только в

том случае, если в обратной пропорции к расширяющимся вследствие политического приспособленчества табуизированным зонам будет расти официально поддерживаемая готовность компетентно и безоговорочно разрушать эти зоны и таким образом обнажать ставшие привычными научно опосредованные методы и ритуалы затемнения истины относительно уровня цивилизационных рисков.

В этих условиях научно зафиксированная опасность модернизационного процесса, осуществляемого и управляемого на промышленно-технологической основе, может придать новое качество общественной критике там, где она выставлена на всеобщее обозрение вопреки табуизированным зонам, возникающим в процессе политизации природы. Химические, биологические, физические, медицинские формулы опасности превращаются таким образом в «объективные предпосылки» для критического анализа состояния общества. Отсюда вытекает вопрос о соотношении критики рисков и социологической критики культуры.

Социокультурная критика модерна вынуждена постоянно бороться с (социологической) азбучной истиной, будто унаследованные нормы нарушаются в процессе развития модерна. Противоречия между установившимися нормами и общественным развитием – ядро самой что ни на есть повседневности. Острие общественно-научной критики культуры всегда ломалось под воздействием общественных наук. Надо *к тому же* быть плохим социологом, чтобы постоянно сталкивать полезные намерения, которые, как известно, сводятся к разумности разума, с вредностью модерна.

Несколько по-иному обстоит дело с утверждениями социологов, что нарушаются интересы групп, обостряется социальное неравенство, один за другим следуют экономические кризисы. Принимая во внимание организованность адвокатуры, в этом есть своя злободневность. Однако и здесь имеется параллель, связывающая эти ходы мысли с названными выше и отличающая их от естественнонаучного протоколирования: нарушения предельных величин *избирательны* и могут длительное время *признаваться официально*. Это же можно сказать и о социальном неравенстве. Но не о последствиях модернизации, несущих угрозу *самой жизни*. Они – следствие основного универсального признака – признака эгалитаризма. Их институционализация, вполне, как мы видели, возможная, наносит непоправимый ущерб здоровью всех. «Здоровье» само по себе имеет высокую культурную ценность, но оно сверх того еще и предпосылка жизни и выживания. Универсализация угроз здоровью всегда и везде создает постоянную опасность, которая пронизывает насквозь экономическую и политическую систему. Здесь нарушаются не только социальные и культурные предпосылки, с чем, как показывает вопреки пролитым по этому поводу слезам путь модерна, вполне можно жить. Здесь, по крайней мере, в глубинном измерении, которому наносится урон, ставится вопрос о том, как долго еще можно ограничивать красные списки вымирающих растений и животных. Может статься, что мы находимся в начале исторического процесса привыкания. Может статься, что уже следующие поколения будут так же мало удивляться снимкам только что появившихся на свет уродцев среди пораженных опухолями рыб и птиц, как это сегодня происходит с нарушениями предельных величин, новой нищетой и неизменно высоким уровнем безработицы. Уже не первый раз вместе с ростом опасности утрачивается представление о ее масштабах. Еще остается обоснованная надежда, что этого не случится, что вместе с индустриализацией природы ее разрушение будет восприниматься как индустриальное саморазрушение. (По поводу чего даже в интересах профессионализации критики не может быть никакого ликования.)

Для отвыкшего от формул уха социолога это может звучать парадоксально. Но обращение к химическим, биологическим и медицинским формулам, независимо от того, обоснованы они научно, антинаучно или еще как-нибудь, может придать общественно-научному анализу нормативные критические предпосылки. И наоборот:

их скрытое содержание станет явным только в результате сопряжения с общественно-политической сферой. Само собой разумеется, это означает также, что ученые-общественники, как и их коллеги в других областях знания, будут зависеть от *контролируемого непрофессионалами «отсутствия опыта из вторых рук»* – со всеми проблемами, которые будет порождать отсутствие профессиональной автономии. С этим вряд ли может конкурировать то, что могут предложить общественные науки, опираясь на собственные возможности.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Индивидуализация социального неравенства. К вопросу о детрадиционализации индустриально- общественных форм жизни

Логика распределения модернизационных рисков, как она была изложена в предыдущей главе, является существенным, но всего лишь *одним* признаком общества риска. Возникающие таким образом глобальные угрозы и содержащаяся в них социально-политическая конфликтная динамика развития – явления новые и значительные, однако на них напластовываются общественные, биографические и культурные риски и опасности, которые в развитом модерне истончают и рафинируют внутреннюю социальную структуру общества риска – социальные классы, формы семейной жизни, брака, родственных и профессиональных отношений – и связанный с ними привычный образ жизни. Эта вторая сторона занимает теперь центральное место. Обе стороны вместе, сумма рисков и тревог, их взаимное обострение и нейтрализация и составляют социальную и политическую динамику общества риска. Теоретическое предположение, из которого вытекают обе перспективы, в общем виде можно сформулировать так: развернувшийся на пороге XXI века процесс модернизации не только обусловил подчинение природы обществу, но и сделал уязвимой внутриобщественную систему координат индустриального общества – роль науки и техники, стержни, на которых держится жизнь человека, – семью и профессию, распределение и разделение демократически узаконенной политики и субполитики (с точки зрения экономики, техники, науки).

Амбивалентности: освобождение индивидов в условиях развитых рыночных отношений

Центральная мысль этой главы заключается в том, что мы являемся свидетелями метаморфозы общества в рамках модерна, в ходе которой люди освобождаются от социальных форм индустриального общества – от деления на классы и слои, от традиционных семейных отношений и отношений между полами, точно так же как в ходе Реформации они освобождались от господства церкви к формам жизни светского общества. Предварительно аргументацию можно изложить в семи тезисах:

1. Во всех богатых западных индустриальных странах, особенно в ФРГ, в процессе общественно полезной модернизации после второй мировой войны произошёл *общественный сдвиг* доселе невиданного размаха и динамизма *в сторону индивидуализации* (причем при сохранившихся в значительной мере отношениях неравенства). Это означает, что на фоне относительно высокого материального уровня жизни и развитой системы социальных гарантий, в ходе исторического разрыва с устоявшимися формами жизни, люди освобождаются от классово окрашенных отношений и форм жизнеобеспечения в семье и начинают в большей мере зависеть от самих себя и своей индивидуальной судьбы на рынке труда с ее рисками, шансами и противоречиями.

Процесс индивидуализации до сих пор касался преимущественно развивающейся буржуазии. Но в другой форме он присущ и «свободному наемному рабочему» современного капитализма, и динамике процессов на рынке труда в условиях демократического государственного устройства. Вступление в рынок труда сопряжено с освобождением от все новых и новых форм отношений в семье, с соседями, с

коллегами по профессии, а также от привязанности к региональной культуре и ландшафту. Эти сдвиги в сторону индивидуализации конкурируют с опытом коллективной судьбы на рынке труда (массовая безработица, утрата квалификации и т.п.). Но в общественно-государственных условиях, сложившихся в ФРГ, они ведут к *высвобождению индивида* из социальных классовых связей и устоявшихся отношений между мужчинами и женщинами.

2. В отношении интерпретации *социального неравенства* возникает двойственная ситуация. Для марксистских теоретиков классового общества, как и для исследователей расслоения, вполне вероятно, в принципе ничего не изменилось. Различия в иерархии доходов и фундаментальные установления о наемном труде остались без изменений. С другой стороны, применительно к действиям людей связь с социальными классами отступает на задний план. Сложившиеся по сословному признаку социальные круги и классовые формы культуры и жизни утрачивают свое значение. Возникает тенденция к индивидуализированным формам и ситуациям существования, которые вынуждают людей ради собственного материального выживания ставить *себя* в центр планирования и осуществления собственной жизни. Индивидуализация в этом плане направлена на ликвидацию жизненных основ мышления в традиционных категориях крупных общественных групп – социальных классов, сословий или слоев.

В марксистских теориях классовый антагонизм раз и навсегда намертво связывался с «сутью» индустриального капитализма. Этот застрявший в историческом опыте образ мыслей может быть сформулирован как тезис об *исключенном третьем варианте* общественно-индустриального развития. Капитализм *или* уходит через открытую для него дверь (обострение классовой борьбы и «революционный взрыв») со сцены мировой истории и возвращается с изменившимися отношениями собственности через заднюю дверь в новом обличье социалистического общества, *или* классы продолжают бороться, бороться и бороться. Тезис индивидуализации выдвигает ранее исключенный третий вариант: динамика утвердившегося в социально-государственном плане рынка труда размывает или ликвидирует классы в капитализме. Мысля в марксистских категориях, мы во все большей степени сталкиваемся с (пока еще не осмысленным) феноменом капитализма без классов со всеми связанными с структурами и проблемами социального неравенства.

3. Эта тенденция «бесклассового характера» социального неравенства особенно ясно просматривается в распределении массовой безработицы. С одной стороны, нарастает доля потерявших работу на длительное время, а также число тех, кто оказался отлученным от рынка труда и уже никогда больше не найдет работы. С другой стороны, постоянству общего числа безработных – свыше двух миллионов – не соответствует такое же количество зарегистрированных случаев и пострадавших от безработицы лиц. С 1974 по 1983 годы ровно двенадцать с половиной миллионов, или *каждый третий* трудоспособный, один или несколько раз оказывались без работы. Одновременно растут серые зоны между зарегистрированной и незарегистрированной безработицей (домашние хозяйки, молодежь, лица, преждевременно вышедшие на пенсию), а также между полной и неполной занятостью (гибкий рабочий день, скользящие графики занятости). Широкое распространение более или менее кратких периодов безработицы совпадает с растущим числом тех, кто лишился работы надолго, и с новыми смешанными формами соотношения между безработицей и занятостью. Этому нет соответствия в классово-культурных взаимосвязях жизни. Обострение *и* индивидуализация социального неравенства переплетаются. Вследствие этого системные проблемы оборачиваются невозможностью их решения в личном плане и политически упраздняются. В процессе разрыва с традиционными формами жизни возникает *новая непосредственность* индивида и общества, непосредственность кризиса и болезни в том смысле, что общественные кризисы

проявляются как индивидуальные, и их общественный характер может восприниматься лишь очень условно и опосредованно.

4. Это освобождение по отношению к сословно сложившимся социальным классам наслаивается на освобождение по отношению к *положению мужчины и женщины*. Это находит существенное отражение в изменившемся положении *женщин*. Новейшие данные ясно говорят о том, что не отсутствие образования и не социальное происхождение, а *развод* становится тем люком, через который они проваливаются в «новую бедность». В этом выражается степень освобождения от брачных обязанностей и домашней работы, освобождения, которое уже необратимо. Тем самым спираль индивидуализации проникает и *внутрь* семьи: рынок труда, сфера образования, подвижность – все теперь удваивается и утраивается. Семья превращается в затаянное жонглирование многочисленными устремленными в разные стороны амбициями, касающимися профессии, образования, воспитания детей и одинакового участия в ведении домашнего хозяйства. Рождается тип «договорной семьи на время», когда уже сложившиеся индивидуальности вступают во временный противоречивый союз с целью регуляции эмоционального обмена.

5. То, что облечено в приватную форму «проблемы взаимоотношений», с точки зрения общественной теории представляет собой *противоречия разделенного надвое современного индустриального мира*, который сразу после рождения человека у одного пола отнимал, а другому предоставлял неделимые принципы модерна – индивидуальную свободу и равенство вне зависимости от того, кем родится человек. Индустриальное общество никогда не было и не является *только* индустриальным обществом, оно всегда оставалось наполовину индустриальным, наполовину сословным, причем сословная сторона – не традиционный реликт, а *продукт и фундамент* индустриального общества. Победа индустриального общества означала устранение семейной морали, разделение судеб мужчин и женщин, отмену брачных, родительских и сексуальных табу, она означала сведение воедино работы по дому и труда ради заработка.

6. Это проясняет особенности современного индустриализационного сдвига (в сравнении со сходными или несходными сдвигами в эпоху Возрождения или ранней индустриализации). Новое следует искать в следствиях. Говоря упрощенно, место сословий занимают уже не социальные классы, а место социальных классов – не стабильные рамки семейных отношений. *Мужчина и женщина по отдельности становятся жизненно важной единицей воспроизводства социальных отношений*. Иными словами, индивиды внутри и вне семьи становятся основными действующими лицами в обеспечении своего определяемого рынком существования и связанного с этим планирования и организации собственной биографии.

Эта дифференциация индивидуальных ситуаций в развитом рыночном обществе не может быть приравнена к осуществленной эмансипации. Не означает индивидуализация и начало нового сотворения мира из воскресшего индивида. Скорее она связана с тенденциями *институционализации и стандартизации жизненных ситуаций*. Свободные индивиды становятся зависимыми от рынка и *тем самым* от системы образования, потребления, социально-правового регулирования и обеспечения, от планирования коммуникаций, предложения потребительских товаров, от возможностей и модных течений в медицинском, психологическом и педагогическом обслуживании. Все это указывает на особую контролирующую структуру «институционально зависимых индивидуальных ситуаций», которые вместе с тем открываются для (имплицитного) политического воздействия и регулирования.

7. В соответствии с этим индивидуализация понимается нами как исторически противоречивый *процесс обобществления*. Правда, коллективизм и стандартизация в возникающих индивидуализированных ситуациях просматриваются с трудом. И все же именно это есть прорыв и осознание противоречивости, которые могут при-

вести к возникновению новых социокультурных общностей. Модернизационные риски и опасные ситуации приводят к появлению гражданских инициатив и социальных движений. Но бывает и так, что в ходе индивидуализации систематически пробуждается желание отвоевать для себя «немножко собственной жизни» (в материальном, пространственном, временном отношении или при формировании социальных взаимосвязей). Но в процессе возникновения эти ожидания сталкиваются с общественными и политическими ограничениями и противодействиями. На этом пути рождаются *новые направления поисков*, которые частично используют экспериментальные формы обращения с социальными условиями, с различными формами альтернативной и молодежной субкультуры. Общности не в последнюю очередь образуются в протестных формах и проявлениях, которые возникают при административном и индустриальном вмешательстве в частную сферу, в «личную жизнь» и демонстрируют свою агрессивность. В этом плане новые социальные движения (окружающая среда, проблемы мира и женской эмансипации) являются, с одной стороны, выражением новых опасных ситуаций в обществе риска и обострившихся противоречий между полами; с другой стороны, формы политизации и проблемы стабилизации вытекают из процессов *складывания социальной идентичности* в освободившемся от традиций, индивидуализированном жизненном пространстве.

Глава третья

ПО ТУ СТОРОНУ КЛАССОВ И СЛОЕВ

Кто сегодня задает наивный вопрос о реальном существовании классов и слоев в Федеративной республике и других развитых странах, тот сталкивается с внешне противоречивым положением вещей, с одной стороны, структура социального неравенства в развитых странах демонстрирует поразительную *стабильность*. Результаты соответствующих исследований говорят, что все технические и экономические преобразования, все реформы последних трех десятилетий существенно не изменили *отношения* неравенства между крупными группами нашего общества, если не считать отдельных сдвигов вплоть до семидесятых и в восьмидесятые годы в ходе массовой безработицы.

С другой стороны, в этот же период времени вопросы социального неравенства утратили свою остроту. Даже еще несколько лет тому назад вызывавшее тревогу количество безработных, далеко перевалившее за два миллиона, так до сих пор и не вылилось в протестные движения. Правда, в последние годы вопросы неравенства снова приобрели повышенное значение (дискуссии о «новой бедности») и возникают в других ситуациях и провокационных вариантах (борьба за права женщин, гражданские инициативы, направленные против строительства атомных электростанций, неравенство между поколениями, региональные и религиозные конфликты). Но если общественные и политические дискуссии принять за существенный показатель реального развития, то напрашивается вывод: несмотря на сохраняющиеся и возникающие новые отношения неравенства мы живем сегодня в Федеративной республике уже по ту сторону классового общества; образ классового общества сохраняется только в связи с отсутствием лучшей альтернативы. (Это не относится в одинаковой мере ко всем западноевропейским индустриальным странам. Развитие Федеративной республики, например, отличается от развития в Великобритании или Франции. Так, в Великобритании социально-классовая принадлежность по-прежнему заметна в повседневной жизни и является объектом сознательной идентификации. Она закрепляется в языке – акценте, манере выражаться, лексике, – в резких классовых различиях местожительства (*housing classes*), в формах воспитания, манере одеваться и во всем, что подразумевается под «стилем жизни»). Это противоречие можно разрешить, если задаться вопросом, в какой мере изменилось за прошедшие три десятилетия *социальное значение* неравенства. Вот мой тезис: с одной стороны, отношения социального неравенства в послевоенной Федеративной республике остались в значительной степени *константными*. С другой стороны, радикально изменились жизненные условия населения. Особенностью социально-структурного развития в Федеративной республике является «эффект лифта»: «классовое общество» целиком поднялось на этаж выше. При всех намечающихся заново или сохранившихся проявлениях неравенства произошло *коллективное увеличение* доходов, увеличились шансы получить образование, возможности путешествовать, возросло правовое, научное обеспечение и обеспечение товарами массового спроса. В результате истончаются и аннулируются субкультурные классовые идентичности и связи. Одновременно начинается процесс индивидуализации и диверсификации ситуаций и стилей жизни, который подтачивает иерархическую модель социальных классов и слоев и ставит под сомнение ее реальное содержание.

1. Культурная эволюция форм жизни

Таким образом, *социальный* классовый характер условий и форм жизни при не изменившихся структурах неравенства может быть утрачен через изменение уровня жизни. Благодаря повышению этого уровня в ходе перестройки в пятидесятые годы и расширения сферы образования в шестидесятые и семидесятые широкие круги населения действительно пережили изменение и улучшение условий своей жизни, которые в плане собственного опыта значили больше, чем все еще сохраняющееся неравенство относительно других социальных групп. Это в первую очередь касается групп, занимающих нижние уровни иерархической системы. Если средняя реальная заработная плата работников промышленности с 1880 по 1970 г. более чем *утроилась* (причем самый большой скачок произошел после 1950 г.), то постоянное напоминание о сохранившейся разнице в доходах рабочих и служащих мало что говорит о реальных условиях жизни самих рабочих.

Последствия этого «социально-исторического революционного повышения доходов» можно проследить на деталях условий жизни в рабочей среде (см. об этом J. Mooser, 1983). Только в пятидесятые, а еще заметнее в шестидесятые годы трудящиеся сбросили с себя ярмо «пролетарской нищеты», которая до тех пор определяла их жизнь. До 1950 г. питание, одежда и жилье съедали три четверти семейного бюджета, тогда как эта доля – при повышении качества жизни – опустилась в 1973 г. до 60%. Одновременно произошла своего рода «демократизация» в приобретении престижных товаров – радио, телевизора, долго подвергавшегося насмешкам холодильника, автомобиля. Квартиры стали более просторными и лучше обставленными. Из жилой комнаты исчезла пролетарская кухня. Излишек денег открыл новые возможности для путешествий. Некогда доступные только состоятельному бюргеру поездки в отпуск и на отдых стали теперь возможны по меньшей мере для каждого второго рабочего. Некоторые даже стали приобретать собственные владения. При не изменившейся разнице в доходах сравнительно с другими большими группами населения рабочие избавляются от статуса «пролетарского бедняка»: квота накоплений (доля сбережений относительно полученного чистого дохода) поднялась с 1-2% в 1907 г. до 5,6% в 1955 г. и удвоилась в 1974 г., дойдя до 12,5%. При этом речь уже не шла о «копейке на черный день», деньги копились на приобретение ценных потребительских товаров, для многих даже стало доступно осуществление «мечты» – покупка дома или квартиры. Если в 1950 г. только 6% рабочих семей могли осуществить желание поселиться в собственном жилище, то в 1968 г. их число возросло до 32%, а в 1977 – до 39%.

Подъем материального уровня жизни – лишь одна из многих возможностей изменить условия жизни человека при (статистически фиксируемом) неизменном социальном неравенстве. Только во взаимодействии целого ряда компонентов происходит индивидуализационный сдвиг, который освобождает людей от традиционных классовых привязанностей и превращает их – во имя их же выживания – в активных творцов собственной, обусловленной рынком труда биографии.

«Эффект лифта»

Продолжительность жизни, активная трудовая жизнь, заработная плата – эти три компонента в процессе развития Федеративной республики сдвинулись в сторону расширения жизненных возможностей. (Об историческом развитии социального неравенства в Германии за последние сто лет см.: Peter Berger, *Entstrukturierte Klasseengesellschaft?* Opladen 1986). Средняя продолжительность жизни *увеличилась на многие годы* (за прошедшие сто лет у мужчин на 10 лет, у женщин даже на 13), время активного труда уменьшилось в среднем *более чем на четверть* (не считая более

позднего – на два года – вступления в трудовую жизнь и более раннего – на три года – выхода на пенсию), одновременно *в несколько раз увеличилась заработная плата*. Благодаря мощному историческому рывку жизнь людей в обществе наемного труда в значительной мере освободилась от ярма наемного труда (при его интенсификации). В целом большая продолжительность жизни, меньший срок активного труда и возросшие финансовые возможности – вот точки опоры, которые обеспечили «эффект лифта» в жизненном укладе людей. При сохранении социального неравенства произошел переворот в отношениях между трудом и жизнью. Удлинился срок жизни, свободный от зарабатывания денег, человек в этот период стал значительно обеспеченнее в материальном отношении, правда, при условии, что он участвовал в производительном труде. Речь, таким образом, идет об освобождении не в период трудовой активности, а *за пределами* этого периода. Новые материальные возможности и увеличившееся время досуга совпали с соблазнами массового потребительского рынка и размыли контуры традиционных форм жизни и социальной среды.

Излишек денег, как и излишек свободного от зарабатывания денег времени сталкиваются с традиционными табуизированными зонами жизни, строящейся в соответствии с классовыми пристрастиями и семейными устоями. *Деньги* по-новому смешивают социальные группы и в то же время размывают их контуры в обществе массового потребления. Как и прежде, существуют места, где встречаются «одни» и не встречаются «другие». Но зоны пересечения растут, и границы между объединениями и ресторанами, молодежными клубами и домами престарелых, которые еще в кайзеровской Германии и Веймарской республике заметно делили жизнь в нерабочее время на «классовые ареалы», становятся невидимыми и исчезают совсем. Их место занимают *неодинаковые стили потребления* (в обстановке, одежде, средствах массовой информации, планировании жизни и т.д.), но и они – при всех различиях между ними – отказались от классово-культурных атрибутов. Дифференциация индивидуальных ситуаций видна на следующих двух компонентах рынка труда: (а) *мобильности* и (б) *образовании*.

Мобильность

При сравнении двух столетий бросается в глаза, что многократно цитируемая «индустриальная революция» – по крайней мере, в отношении вызванных ею потоков социальной мобильности – отнюдь не была такой революционной, как можно было бы предположить по ее названию. Так, в Пруссии доля индустриальных рабочих выросла с 1822 по 1861 гг. только с 3 до 7%. Подлинный скачок в социальной мобильности произошел только в послевоенный период. Благодаря расширению сектора услуг в 60-е и 70-е гг. шансы на социальный подъем в нижней трети социальной иерархии при сохранении различий с группами служащих и чиновников значительно увеличились. Прежде всего молодые люди и девушки из рабочих семей воспользовались экспансией сферы услуг и сопряженными с ней подвижками в профессиональных структурах. В 1971 г. армия служащих и чиновников среднего и низшего звена пополнилась ровно наполовину выходцами из рабочих семей (с 1920 по 1936 год рождения), а состав высшего чиновничества – почти на треть, причем 15% из них – это дети неграмотных, а 23% – дети обученных рабочих, 31% – дети квалифицированных рабочих, и 45% – дети бригадиров и мастеров.

Социальная мобильность, как, кстати, и мобильность географическая, даже повседневная мобильность между домом и рабочим местом, перемешивают жизненные пути и ситуации людей. Со всеми этими видами мобильности, особенно с их совокупностью связаны сдвиги в индивидуализации применительно к семейным, соседским, дружеским, профессиональным и производственным отношениям, а также привязанности к определенной региональной культуре и ландшафту. Жизненные пу-

ти людей обретают самостоятельность относительно условий и связей, из которых они вышли или в которые входят заново, и наделяются собственной реальностью, которая переживается людьми как *личная судьба*.

В излишке денег, используемом для личного домашнего хозяйства, заключена изрядная толика *возросшего объема женского труда*. Хотя чисто внешне доля женщин в общем количестве работающих в течение ста лет оставалась на удивление неизменной и составляла примерно 36%. Но женщины в значительной части отказались от сомнительного статуса «оплачиваемых помощниц» сильного пола и благодаря наемному труду, при сохранении брачных отношений, обрели, так сказать, «самостоятельность». С 1950 по 1980 г. доля «помощниц» из числа состоящих в браке женщин падает с 15 до 4%, соответственно квота самостоятельно зарабатывающих деньги женщин, состоящих в браке, выросла с 9 до 36% (параллельно все время растет число женщин, сохраняющих трудоспособность в браке даже в период материнства).

«Самостоятельно заработанные деньги» имеют не только материальную, но также социальную и символическую ценность. *Они меняют соотношение сил в браке и семье*. Разумеется, это сопровождается и новым принуждением со стороны наемного труда. Но даже с этим смиряются перед лицом угрозы растворения в домашней работе. «Собственные» деньги обнаруживают свою социальную взрывную силу именно там, где они, при условии их общественной значимости, избавляют женщину от почти феодального подчинения в семье и браке. Качество социальных отношений, консервируемое благодаря этому подчинению, своей существенной опорой имело, что у женщин не было собственных денег. Об этом свидетельствуют многочисленные интервью с работающими женщинами, которые благодаря самостоятельно заработанным деньгам смогли ослабить свою зависимость от семейных и брачных отношений, а то и вообще впервые открыто высказать то, что они думают о собственном положении в семье.

Эта тенденция усиливается еще и потому, что вместе с уменьшением срока трудоспособности и увеличением доли участия женщин и матерей в оплачиваемом труде роковое и несокрушимое нежелание мужчины заниматься домашней работой превращается в событие политического значения. «Собственные деньги», благодаря которым женщине удастся избавиться от статуса «умеющей говорить кухонной мебели», в свою очередь побуждают ее к получению образования, к мобильности, к осознанию собственных интересов и тем самым определяют масштабы индивидуализационного сдвига и в семейных отношениях.

При традиционном распределении ролей можно было бы исходить из того, что профессиональная мобильность мужчины и семейная мобильность будут совпадать. На деле связанное с рынком труда требование мобильности оказывается тем *ядом, который разъедает семью*. В конечном счете в семейные отношения вбивается клин: или оба, в соответствии с требованиями рынка труда, полностью мобильны, и тогда им грозит судьба «разорванной семьи» (и детское отделение в железнодорожном экспрессе). Или же одна половина – известно, какая – остается и дальше «ограниченной в передвижении вследствие брачных отношений» со всеми вытекающими отсюда тяготами и обидами. Именно здесь можно увидеть, как последовательное развитие индустриального общества разрушает или даже уничтожает его собственную жизненную основу – в нашем случае «супружеское» неравенство полов в малой семье.

Образование

Относительно *образования* вырисовывается та же картина: стабильные классовые отношения вплоть до послевоенного развития, потом, с экспансией образова-

ния в 60-е и 70-е гг., резкие изменения, не только подъем общего образовательного уровня, но и заметные сдвиги в отношениях неравенства. На протяжении всего 19 в. был только один, хотя и драматический, скачок в развитии: ликвидация неграмотности. А в остальном противоречия между крохотным «образованным» меньшинством и большинством «необразованных» оставались в значительной степени стабильными (с несущественными различиями между образованием на уровне народной школы и дополнительным профессиональным обучением в рабочей среде). Эффект «революции в образовании» отражается, например, в количественной утрате значения начальной, народной школы и возрастании роли таких форм обучения, которые обеспечивают дальнейшее получение образования. В то время как в 1950 г. ровно 81% девочек и 78% мальчиков в возрасте тринадцати лет завершили свое образование, пройдя курс народной школы, в 1981 г. эти показатели составили соответственно только 35 и 42%. Это означает, что за три десятилетия число тех, кто получил более высокое образование (закончил реальную школу, гимназию или общеобразовательную среднюю школу), у девочек почти утроилось, а у мальчиков *почти удвоилось*.

Точно такие же результаты дают изменения и на другой стороне образовательной пирамиды, в высшей школе. Так, в ходе экспансии образования при абсолютно растущем уровне доля поступивших в высшие учебные заведения детей рабочих увеличилась в *несколько раз*. В 1928 г. их было 2,1%, в 1951- 4%, в 1967 уже 9,2% и, наконец, в 1981 – 17,3%. Одновременно учащиеся женщины почти сравнялись по количеству с мужчинами. В то время как в гимназическом образовании с середины 70-х гг. девочки даже немного опередили мальчиков, доля поступивших в высшие учебные заведения особ женского пола составила в 1983 г. ровно 43% (в 1960 только 25%, в 1975 уже 34%). Отсюда ясно: экспансия образования в значительной своей части была и экспансией образования для женщин. Во всяком случае, шаг в сторону расширения образования можно считать удавшимся. Это почти не поколебало «привязанность к своему дому» и не устранило неуверенность и неравенство в профессиональной интеграции. Встает вопрос: каким образом эта открывшаяся из-за крайней неосторожности мужчин возможность *феминизации образования* вообще могла осуществиться в 60-е гг. (при отсутствии активного женского движения)?

В этом смысле массовое использование высшего образования – независимо от того, обещает ли оно профессиональную отдачу – обусловило *разрыв между поколениями* послевоенной Германии, который широко и глубоко сказался на взаимоотношениях между полами, на отношении родителей к воспитанию, на политической культуре (новые социальные движения). Так был сделан еще один шаг в освобождении от классово-культурных связей и от зависимости, обусловленной средой происхождения. С удлинением сроков школьного обучения традиционные ориентации, образ мыслей и стиль жизни ставятся под сомнение или вытесняются универсализацией условий обучения и учебы, содержания знаний и языковых форм. Образование – в зависимости от его сроков и содержания – содействует хотя бы минимальному процессу самоосмысления и самоосуществления. Сверх того, образование связано с *селекцией* и потому требует индивидуальной карьерной ориентации, которая сохраняет свою действенность даже там, где «продвижение благодаря образованию» всего лишь иллюзия, а образование обесценивается и превращается в необходимое средство против падения уровня жизни (о том, что случилось в процессе экспансии образования, см. стр. 242 и сл.). В конце концов формализованный образовательный процесс образования можно закончить только пройдя через «индивидуализирующее игольное ушко» экзаменов, контрольных работ и тестов, которые в свою очередь открывают выход к получению индивидуального свидетельства об образовании и к карьере на рынке труда.

Применительно к пролетарской классовой среде как она существовала вплоть до 30-х гг. с ее членением по принципу социал-демократического, католиче-

ского, евангелического и прочих «мировоззрений», это означает разрыв в поступательном развитии, который постепенно дает о себе знать в смене поколений. Раньше вращение в рабочее движение было для отдельного человека преимущественно «естественным процессом», который строился на основе семейного опыта и отражавшейся в нем «классовой судьбы» и потом через посредство соседей, спортивных союзов и т.п. вплоть до производственной социализации *опять-таки предначертанным путем* вливался в политические движения своего времени. Сегодня этот широкий конвейер обретения опыта и осуществления контроля в оформленной по классовым стандартам социальной среде во многих местах разорван, и отдельный человек, предоставленный самому себе, вынужден открывать элементы «классовой судьбы» в своей собственной жизни.

У женщин в связи с уравниванием в области образования возникла затруднительная ситуация. Путь вперед, к профессии, из-за стабильной массовой безработицы (и большими «резервами рационализации» на специфически женских рабочих местах) в той же мере затруднителен, как и путь назад – к браку и семье (не в последнюю очередь из-за растущего числа разводов). Возможно все – и невозможно ничего. Одни могут принимать одно решение, другие другое. Неравенство между мужчинами и женщинами *отныне проявляется с непреложной очевидностью*. Предположим, многие женщины вытесняются с рынка труда обратно в семью. Тогда людям с (почти) *одинаковым* уровнем образования придется работать в прежних *крайне неравных* условиях и с прежней нагрузкой, знать об этом и вынужденно терпеть это очевидное противоречие, обращенное в сферу частной, личной жизни. Образование еще ничего не гарантирует. Но равное образование у мужчин и женщин гарантия того, что неравенство их положения в семье и на работе будет ставить на их жизненном пути предупредительные знаки. Аргумент: они этого *не могут* – знаком из истории. Они этого не могут, и им этого не позволяют! Неравенство обрело личный, повседневный, *не легитимный*, а потому *политический* (в традиционном и частном смысле слова) характер. Феминизация образования уже изменила мир семьи и труда, потому что она заставила осознать неравенство и превратила его в несправедливость. Отныне всегда будут говорить: при равном образовании...

Круг замыкается. Фаза подъема в государстве всеобщего благоденствия вызвала при сохраняющихся условиях неравенства культурную эрозию и эволюцию условий жизни, которые в конечном счете привели к выявлению неравенства между мужчиной и женщиной. Такова динамика процесса индивидуализации, который при взаимодействии всех названных компонентов – излишка свободного времени, излишка денег, мобильности, образования и т.д. – стал интенсивно изменять структуры и разрушать жизненные взаимосвязи между классом и семьей.

2. Индивидуализация и образование классов: Карл Маркс и Макс Вебер

«Индивидуализация социального неравенства» – разве в связи с этим не все забыло, отринуто, проигнорировано – классовый характер, системность, массовое общество, переплетение капитала, идеологическая кажимость, отчуждение, антропологические константы и дифференциация социально-исторической действительности? Разве понятие индивидуализирующего процесса не означает преждевременной смерти идеологии, похоронного звона по ней?

Это побуждает к теоретическим уточнениям: чем отличаются эти явления от возникновения буржуазного индивидуализма в 18 и 19 веках?. Буржуазная индивидуализация базировалась в основном на владении капиталом и развивала свою социальную и политическую идентичность в борьбе с господством феодального правопо-

рядка. В Федеративной республике, напротив, заявляет о себе «индивидуализация рынка труда»; как было показано, она проявляется в повышении уровня жизни, образования, мобильности и т.д. Почему и в каком, собственно, смысле произошла *индивидуализация* рынка труда? Продажа рабочей силы считалась и считается многими до сих пор тем *моментом*, который определяет противоречие между классами при капитализме. Почему и как движущая сила, приводившая к *образованию* классов, оборачивается теперь *индивидуализацией* социальных классов?

Различие заключается в том новом, которое зарождается вместе с разбитием Федеративной республики, – в усилиях государства, направленных на социальную и правовую интенсификацию наемного труда в обществе благоденствия. Это же в типичных условиях 19 и первой половины 20 вв. вызывало к жизни прямо противоположные тенденции. Сегодня люди под давлением нужды и переживаемого ими отчуждения труда уже не сбиваются в пролетарских кварталах нищеты в социально-политические «классы», как это было в 19 в. Наоборот, благодаря завоеванным правам они скорее освобождаются от классовых взаимосвязей и при добывании средств к существованию в значительной мере оказываются предоставленными самим себе. В обществе всеобщего благоденствия расширение сферы наемного труда оборачивается *индивидуализацией* социальных классов. Такое развитие не было подарком милосердных самаритян-капиталистов обнищавшему рабочему классу. Оно завоевано, оно продукт борьбы и в этом качестве выражение силы рабочего движения, которое, *благодаря своим успехам* изменило собственные условия жизни. Это было претворением в жизнь определенных (и существенных) целей рабочего движения, которое изменило предпосылки своего успеха и, вероятно, нанесло им урон по меньшей мере как базе «рабочего» движения.

Карл Маркс: «обособленный одиночка»

Именно Маркса можно без особого насилия над ним рассматривать как одного из самых решительных «теоретиков индивидуализации», который, однако, раньше времени отказался от своей аргументации в пользу этого явления, хотя его аргументы в тогдашней историко-политической перспективе были весьма последовательными. Во многих местах своих произведений Маркс неизменно утверждал, что распространение современного индустриального капитализма вызовет невиданный в истории *процесс освобождения*. Освобождение от феодальных взаимосвязей и зависимостей есть не только предпосылка дальнейшего утверждения капиталистических производственных отношений. В капитализме люди *тоже* раз за разом освобождаются от традиционных семейных, соседских, профессиональных и культурных связей; их жизненные пути все более запутываются.

Намеченный нами вариант развития общества, вступившего на путь индивидуализации, Маркс, однако, не стал исследовать дальше. Для него этот перманентный процесс обособления и освобождения в системе капитализма всякий раз останавливается *коллективным опытом обнищания* и вызванной им *динамикой классовой борьбы*. Если я не ошибаюсь, Маркс аргументировал следующим образом: именно потому, что процесс освобождения протекает как массовое явление и сопряжен с постоянным ухудшением положения рабочих при капитализме, процесс этот ведет не к раздроблению, а к солидарности и к организационному объединению рабочего класса. Таким образом, через коллективное переживание обнищания в рабочее время и вне его разобщение преодолевается: «класс в себе» находит и организует себя как «класс для себя». Вытекающий из его же собственных аргументов вопрос, каким образом при переплетении жизненных путей, которое постоянно происходит при капитализме, возможно образование стабильных солидарных связей, для Маркса не существует, так как он все время растворяет процессы индивидуализации в процессах

образования классов на базе совместно переживаемого обнищания и отчуждения труда. По-видимому, на этой позиции и сегодня продолжают стоять многие теоретики классового общества.

Теория индивидуализации поддается более точному определению в сопоставлении с аргументами Маркса. Процессы индивидуализации в том смысле, как мы их понимаем, набирают силу только тогда и в такой мере, когда и в какой *преодолеваются* условия образования классов по причине обнищания и отчуждения, как это предсказал Маркс. Появление тенденции индивидуализации связано с типовыми общественными условиями – социальными, экономическими, правовыми и политическими, – которые были созданы лишь в очень немногих странах и только на позднем этапе развития. Сюда, как уже было сказано, относятся общее экономическое процветание и связанная с этим занятость, расширение социальных гарантий, институционализация профсоюзного представительства интересов, экспансия образования, расширение сектора услуг и открывающиеся в связи с этим возможности передвижения, сокращение рабочего времени и т.д.

Возьмем, к примеру, *право на труд*. Само собой разумеется, с введением тарифной автономии «укрошенная» классовая борьба была закреплена в нем как коллективная программа действий. Отдельный человек может осуществлять эти действия по примеру больших групп, соизмеряя их с содержимым своего кошелька. Индивидуализации, следовательно, поставлены очевидные границы. В то же время вместе с правовым обеспечением интересов трудящихся возникли и многочисленные индивидуальные права – на защиту от увольнения, на пособие по безработице, на переобучение и т.д., которые теперь отдельный человек должен осуществлять лично, путем бесконечного хождения на биржу труда или, если возникает необходимость, в судебные инстанции. Рабочее движение благодаря приданию ему правового статуса было, так сказать, переведено с улицы в коридоры учреждений и осуществляется в них методом бесконечного ожидания, сидения, сочинения запросов, консультаций с частично компетентными или вовсе некомпетентными чиновниками, которые обрабатывают и/или ведут прежнюю «классовую судьбу» в индивидуализирующих правовых категориях «частного случая».

Отсюда следуют два вывода. С одной стороны, говоря упрощенно, вместе с осуществлением наемного труда в условиях государства благоденствия происходит *распад* традиционного классового общества. В самом деле, и в Федеративной республике растет привлечение людей (женщин, молодежи) к наемному труду. Так, в период с 1950 по 1976 г. доля мелких предпринимателей понизилась с 14,5 до 9%, в то время как доля работающих по найму выросла за этот же период с 71 до 86%. Вовлечение людей в рынок труда осуществляется, однако, в заданных условиях как *обобщение* индивидуализации, во всяком случае – *пока*. С другой стороны, такая ликвидация классов связана с определенными типичными условиями и может быть в свою очередь аннулирована вместе с изменением этих условий. То, что индивидуализировало классы вчера и делает это сегодня, завтра или послезавтра в других условиях, например, при резко обострившемся неравенстве (массовая безработица, автоматизация предприятий) может обернуться новыми, понимаемыми уже не в традиционном смысле, опирающимися на достигнутый уровень индивидуализации «процессами *образования* классов», без сложившихся на базе сословий и сохранявшихся в 19 и 20 вв. классов, в том числе и *без* «рабочего класса»; это, в свою очередь, означает, что не исключена возможность появления новых, *нетрадиционных* процессов образования «классов», не признающих социальных границ и протекающих в условиях систематически обостряющегося кризиса на рынке труда. Воистину, третьего никогда не следует исключать.

Макс Вебер: социальная среда, сложившаяся под влиянием рынка

Макс Вебер как никто другой был предназначен своим временем для того, чтобы осмыслить начавшееся в пору модерна освобождение людей от традиционных форм жизни во всем его эпохальном значении. Центральной проблемой на пороге 20 в. для него был разрыв с традиционным миром религиозных связей, в котором еще были сплавлены в единое целое посюсторонние и потусторонние силы. Он видел, что с утратой освященной церковью потусторонности этот мир погрузился в нескончаемый усердный труд. В отторгнутости от Бога, загадочности, обезбоженности своего существования люди оказались перед лицом бесконечного одиночества, предоставленными самим себе. Им остался только один предначертанный религией путь – снова постичь скрывшегося от них Бога в его недостижимости. Им нужно было возродить в себе то, что они утратили, побороть обнажившуюся неопределенность созданием уверенности на земле. Им нужно было осмыслить мир, преобразовать его, лишиться «таинственности», «модернизировать», активным использованием заложенных в человеке сил освободить скрытые сокровища этого мира, аккумулировать их в виде капитала, чтобы найти в этом покоренном, присвоенном ими мире защиту от своей богооставленности. Осуществление этой попытки он видел в неустанной активности индустриального капитализма 19 и 20 вв., который благодаря превосходству своих производительных сил преобразовывал все унаследованное, традиционное, снимая с него флер загадочности. Обретение прогрессом самостоятельности, признание его ничем не сдерживаемого развития поверх голов тех, кто его создал, есть не что иное как превратившаяся в систему попытка положить на земную чашу весов как можно больше созданной людьми, рационально испытанной, материализованной уверенности, что уравновесит пустоту другой чаши, компенсировать то, что было навсегда утрачено вместе со знанием о тщете всяких усилий.

Макс Вебер был аналитиком и критиком модерна, приход и совершенствование которого он (пред)видел. Он и модерн поставил на рельсы индустриального общества. На этих рельсах модерну по силам любые преобразования. Однако сами рельсы, то есть господство бюрократической рациональности, профессиональная этика, семья, меняющееся разнообразие классов, остаются не затронутыми динамикой преобразований. В этом отношении он мыслил модерн в формах и структурах индустриального общества, которые возникали или утверждали себя на его глазах. Заложённая в его трудах мысль о возможности *саморевизии* модерна, в котором современные феллахи современного всемирного Египта стряхнут с себя выросшую скорлупу зависимости, возникшую в результате их собственной деятельности, или хотя бы ослабят ее давление, мелькает разве что в позднейших дополнениях. То, что люди, как и на исходе Средневековья, когда они вырвались из светских уз церкви и оказались жертвами чрезмерного усердия индустриального капитализма, в ходе дальнейшего поворота этого же движения освободятся от форм и связей индустриального общества и будут снова отброшены к формам постиндустриального одиночества, содержится в его книгах на уровне мысли, но нигде четко не сформулировано.

Веберу ясна неутомимость динамики обновления. Но в производимых на свет формах исчисляемости она и сама остается исчисляемой. Она не содействует обновлению обновления; не обновляет то, считается «исчисляемым». Применительно к сфере социального неравенства это означает, что Макс Вебер, в отличие от Маркса, видит многообразную дифференциацию социальной структуры. Его тонкие понятийные определения отражают надвигающийся плюрализм и пытаются осмыслить его в категориально. Но верна и противоположная мысль. Тенденции парцеллирования в его понимании растворялись в *непрерывности и значимости сословных традиций и субкультур*. В системе индустриального капиталистического общества они сливались

с властными полномочиями и рыночными шансами, превращаясь в неразличимые на деле «социальные классовые ситуации».

Тем самым у Макса Вебера уже заложено то, что в конце 60-х гг. было детально продемонстрировано вдохновленными марксистской общественной теорией историками рабочего движения, а именно, что мирские нормы, ценностные ориентации и стили жизни, характерные для развивающегося индустриального капитализма, по своему происхождению в меньшей мере продукт индустриального образования классов (в марксистском смысле). А скорее *реликт* докапиталистических, доиндустриальных традиций. «Капитализм как культура» в этом плане не столько самостоятельное явление, сколько «позднесословная» культура, которая была «модернизирована» и «потреблена» системой индустриального капитализма. «Демистификация» системы не распространяется на саму эту культуру, а остается демистификацией *не*-современных, традиционных стилей жизни и форм общения, которые постоянно обновляются, сохраняются и служат пищей для демистификации, лишения таинственности стилей и форм жизни в бесконечном процессе их свершения. Многообразные формы проявления индивидуализации все время улавливаются и сдерживаются регенерирующими тенденциями индустриального общества в образе сословно окрашенных социальных классов, сохраняющихся благодаря существованию рынка.

И в самом деле еще в первой половине нашего века многие симптомы говорили *в пользу* веберовской интерпретации социальной структуры: несмотря на все потрясения непрерывность «социально-моральной среды» и традиционных стилей и ориентиров жизни в первой половине 20 в. остается в значительной степени стабильной. Это же относится и к действенности сложившейся на сословной основе межгенеративных барьеров мобильности с связанного с этим специфического «коллективного опыта», гомогенности контактных сетей, отношений между соседями, кругом выбора супруги или супруга и т.д.

Все это относится к развитию до 50-х гг., но *не имеет отношения к последующему развитию вплоть до наших дней*. С этого момента сложное, неустойчивое единство сословно оформленных, «опосредованных рынком общностей», которые Макс Вебер обобщил в понятии «социальные классы», начинает распадаться. Его элементы – изменившееся благодаря специфическим рыночным отношениям материальное положение, действенность «позднесословных» стилей жизни, а также живое осознание этого единства в коллективах и контактных сетях – благодаря растущей зависимости от образования, неизбежной и возможной мобильности, расширению конкурентных отношений и т.д. аннулируются или изменяются до неузнаваемости.

Традиционная внутренняя дифференциация и «социально-моральная среда», типичные для рабочего класса кайзеровской Германии и Веймарской республики, с 50-х гг. постепенно сходят на нет (в том случае, если они не были целенаправленно уничтожены еще в годы нацизма). Различия между индустриальными рабочими города и деревни были устранены (возьмем, к примеру, все еще широко распространенный смешанный «промышленно-крестьянский» способ жизни). Параллельно с начавшейся реформой образования повсюду возрастает зависимость от образовательного уровня. Все новые группы втягиваются в образовательный процесс. В ходе этой растущей зависимости от образования возникают новые *внутренние* дифференциации, которые хотя и продолжают старые, традиционные, определяемые средой, но значительно отличаются от них своей обусловленностью уровнем образования. Так складываются новые социальные «внутренние иерархии», значение которых для образа жизни и перспектив людей все еще по-настоящему не осмыслено, поскольку они не затрагивают границ, определяющих интересы крупных групп населения, или перешагивают через эти границы.

Это развитие не останавливается перед границами, разделяющими социальные классы, а идет дальше, проникает в личную и семейную жизнь. В то же время

традиционные жилищные условия и структуры поведения все больше и больше заменяются новыми «урбанистическими» поселками городского типа. Место охватывающих семейные кланы, в значительной мере ориентированных на коммунальные формы жизни поселений занимают современные поселки по типу больших или малых городов с их смешанным социальным составом и сильно ослабленными связями между соседями и знакомыми. Прежние связи между соседями рвутся, возникающие социальные отношения и контактные сети образуются по *индивидуальному* выбору и в таком виде продолжают существовать. Это может означать отсутствие связей, социальную изоляцию, но также и другое: самостоятельно выбранные и выстроенные *системы отношений* с соседями, знакомыми и друзьями. В переходный период от одного поколения к другому могут возникать и новые формы расселения, *новый поворот к соседству по коммунальному типу* с открывающимися шансами испробовать новые возможности социального общежития.

В периоды относительного социального спокойствия и «отказа от традиций» открывается многослойное и многоликое историческое *пространство* для изменений в сфере частной жизни. Сюда относится и резкий переход жизненных притязаний в сферу политики, так сказать, новый феномен «*политического приватизма*». А это означает внутренне последовательное, внешне безнравственное расширение исторически возникающих сфер частной жизни за пределы содержащихся в них социальных и правовых ограничений и опробование новых социальных отношений и форм жизни на наличие в них нервных узлов «разрешенного и запрещенного» со всеми вытекающими отсюда эффектами (политического) раскачивания вплоть до деления на культуру и антикультуру, на общество и «альтернативное общество». Волнообразные проявления этого деления мы наблюдаем последние двадцать лет.

Только в 80-е гг. на фоне экспансии образования и постоянной массовой безработицы стали заметные новые тенденции в духе Макса Вебера: ввиду превышения предложения над спросом и сокращения количества рабочих мест происходит *парадоксальное понижение и повышение ценности* свидетельства об образовании. Без документа об образовании шансы получить работу на рынке труда сводятся к нулю. С документом можно получить право на участие в конкурсе, но не само рабочее место. С одной стороны, документа об образовании все чаще оказывается *недостаточно*, чтобы обеспечить профессиональное существование, в этом смысле его ценность снижена. С другой стороны, он *все более необходим* для участия в конкурсе на получение рабочего места, и в этом смысле ценность его повышена. Если в начале существования Федеративной республики был отмечен *коллективный подъем*, то в 80-е гг. можно говорить о *коллективном спаде*: те же самые документы (свидетельство о среднем или профессиональном образовании, диплом высшей школы), которые вплоть до 70-х гг. давали их владельцам шанс преуспеть на рынке труда, теперь не дают гарантии на получение рабочего места, хотя бы обеспечивающего прожиточный минимум. Этот «эффект лифта», идущего вниз, придает новое значение прежним, «сословным» критериям выбора. Получения образования уже недостаточно; требуется «умение держаться», «связи», «способность к языкам», «лояльность», то есть выходящие за пределы функциональной необходимости критерии принадлежности к «социальным кругам», которые экспансия образования должна была бы преодолеть (см. об этом стр. 248).

И все же в годы послевоенного развития в Федеративной республике получила выход социально-структурная динамика, которая не может быть в достаточной мере понята ни в традиции «образования классов» Карла Маркса, ни в заложенной Максом Вебером традиции образования сословно-рыночных ассоциаций внутри социальных классов. Две большие «плотины», призванные, по Марксу и Веберу, сдерживать в развитом рыночном обществе тенденции распада классов и обособления людей образование классов по причине обнищания и возникновение объединений по

сословному признаку – не выдерживают напора развития в «обществе благоденствия». Отсюда вывод: мышление и исследование в традиционных категориях больших общественных групп – сословий, классов и социальных слоев – становится проблематичным.

3. Конец традиционного общества больших социальных групп?

В понятии классов и социальных слоев странным образом переплетаются описание и прогноз, теория и политика, Это придает выбору понятий скрытый драматизм, который трудно держать под контролем с помощью эмпирических и теоретических ссылок. Если мы ставим под сомнение реальное социальное содержание парадигмы деления на классы *и* слои, то в основе этого лежит определенное понимание ситуации. О «классах» мы говорим применительно к 19 и началу 20 века, то есть применительно к историческому опыту, которому это понятие обязано своим социальным и политическим содержанием.

В центре наших рассуждений – сословная структура и социальное (само)восприятие классов в смысле проявления в их жизни и действиях взаимосвязанности больших социальных групп, которые, образуя круг контактов, взаимной помощи и брачных отношений, защищают себя от воздействия извне и в процессе взаимной идентификации с другими крупными группами постоянно ищут и определяют свои осознанные, жизненно важные особенности. Таким образом, имеется в виду классовое понятие, центральный признак которого состоит в том, что им в принципе нельзя пользоваться только как научным понятием, направленным *против* самоопределения общества. Напротив, подразумевается такое состояние, в котором о классах можно говорить только в плане научного *и* социального *удвоения*. Общество самоопределяется и делит себя на классы, социологическое понятие принимает это деление к сведению, отражает его в себе, критикует содержащиеся в нем предположения. Это ни в коем случае не может и не должно быть конгруэнтным. Там же, где понятие класса само утрачивает свою социальную идентичность, оно оказывается в полном *одиночестве*. Ему приходится нести бремя имплицитно приписываемого содержания в одиночку, даже *вопреки* той реальности, к которой оно имеет отношение. Более того, оно к тому же должно регулярно воспроизводить свое собственное содержание посредством перевыполнения теоретического задания на абстрактном уровне. Чрезвычайно трудная для понятия задача – заклипать вернуться ускользнувшую от него действительность. Это означает, что общество, которое больше не функционирует в социально различимых классовых категориях, находится в поиске иной социальной структуры и не может безнаказанно, ценой опасной утраты действительности и релевантности, снова и снова насильно отбрасываться в категорию класса.

Понятие расслоения в этом смысле есть *либерализированное* классовое понятие *в час расставания*, есть переходное понятие, у которого классовая социальная реальность ускользает из рук, но которое пока не осмеливается признаться в собственной беспомощности и позволяет делать с собой то, что очень любят делать ученые, когда становятся беспомощными, – чистить свои инструменты. Ну разве не смешно! Действительность должна приспособливаться к понятию! Понятия делают округлее, мягче, открытее для всего того, чего они больше не в состоянии охватить, но что без сомнения имеет к ним отношение. Аморфная масса с первоклассной операционной оснащенностью – это и есть «современное» понятие расслоения. В нем видно огромное количество данных, которые оно так или иначе – как «верхний слой нижней прослойки» или как «нижний слой средней прослой» – должно переработать и вместить в себя при постоянном расширении связей с реальностью. Такое не может

не впечатлять! Тут уж остается только одно: отделить данные от реальной действительности. *Как-нибудь* их рассортировать. И назвать новыми «слоями». Охранную грамоту на это дает официальная наука, которая во все времена умела подолгу обсаживать свои проблемы. Здесь в роли такой грамоты выступает *классификация*. Последний шаг из класса через слои в действительную ирреальность «чистой» классификации, которая еще содержит в себе понятие «класса», но которая позволяет науке распоряжаться ею по собственному усмотрению. Классификации по приговору суда научной теории не могут быть в собственном деле ни истинными, ни ложными.

«Слои», следовательно, суть не определившаяся переходная стадия между классом и классификацией. Это в конечном счете всего лишь классификации, с еще не вытравленной претензией на охват действительности извне, но уже сами отказавшиеся понять ее изнутри. Действительность, которую потеряли лежащие в основе классификации категории, необходимо снова обрести с помощью огромной массы данных. Масса создает действительность (масса в массовом обществе имеет вес). Второй сетью перехвата служат оперативные анализы. Совершенствуя их, пытаются, так сказать, «вторично залатать» ирреальность категорий расслоения...

На это всегда можно возразить, что фундамент мышления в категориях классов и слоев в результате развития Федеративной республики *не был разрушен*. Разница между большими группами населения в своих существенных измерениях сохранилась; остается в силе и происхождение как важный фактор при распределении социальных шансов. Для публичной и научной дискуссии о социально-структурном развитии Федеративной республики характерно это колебание между *постоянством* отношений социального неравенства и сдвигами в его уровне. Уже в 60-е гг. это привело к контрверзам относительно «*обуржуазивания* рабочего класса» или к полемике по поводу «уравнивания среднего сословия», образование которого Гельмут Шельски обнаружил в ФРГ. Для размежевания с этими концепциями и контрверзами можно еще точнее изложить тезис об индивидуализации социального неравенства.

Мышление в категориях больших социальных групп – классов или слоев – сталкивается с особыми трудностями при осмыслении «эффекта лифта» в развитии ФРГ. С одной стороны, необходимо принимать во внимание общие изменения в уровне жизни целой эпохи. С другой стороны, в рамках указанного мышления это удастся лишь тогда, когда изменения соотносятся с моделью жизни большой социальной группы и затем интерпретируются как тенденция к *выравниванию условий жизни одного класса с другими*. Однако это противоречит постоянству отношений. Как может рабочий класс приблизиться к уровню жизни буржуазии, если статистика утверждает прямо противоположное: различия между рабочими и буржуазией остались прежними, а в некоторых отношениях даже возросли. Исторический перелом, правда, *определенным образом* изменил положение народа, но явно не применительно к «классам» или слоям: старые различия снова восстанавливаются на новом уровне.

Мышление в категориях классов и слоев стягивает воедино то, что тезис об индивидуализации социального неравенства разъединяет: вопрос о *различиях* между соподчиненными большими группами как аспект отношения социального неравенства, с одной стороны, и вопрос о *классовом характере* социальной структуры, с другой. В соответствии с этим легко сделать ложный шаг и в неизменности соотношения увидеть неизменность социальных классов и слоев (или наоборот: интерпретировать повышение уровня жизни как сближение между классами). В противоположность этому мы полагаем, что соотношение социального неравенства и его социальный классовый характер могут изменяться независимо друг от друга: при неизменных различиях в доходах и т.д. в ходе процессов индивидуализации социальные классы оказываются вырванными из традиции или аннулированными. И наоборот: ликвида-

ция социальных классов (слоев) может в иных условиях (например, при массовой безработице) вызвать *обострение* социального неравенства. Этот «эффект лифта», идущего *вниз*, начиная с 80-х гг. приобретает все большее значение.

4. Индивидуализация, массовая безработица и новая бедность

Разве «конец общества больших групп» еще вчера ничего не значил и ничего не значит сегодня? Разве с распространением массовой безработицы и новой бедности мы не переживаем на собственном опыте будущее классового общества, *после того* как был провозглашен его конец?

В самом деле, массовая безработица снова нарастает в пугающих масштабах. Цифры Федерального статистического управления показывают, что уже с 1975 г., а еще яснее в 80-е гг. доходы мелких предпринимателей и предприятий (особенно в электронной промышленности будущего) резко пошли вверх. Доходы чиновников, служащих, рабочих и пенсионеров, сохраняя между собой определенные различия, движутся параллельно со средними показателями. Снижаются доходы тех, кто получает пособие по безработице или единовременную социальную помощь. При всем многообразии вариантов подсчета различаются два направления в получении доходов: общее расхождение между мелкими и крупными предпринимателями, с одной стороны, и наемными работниками всех категорий, с другой. Это происходит с одновременной защитой части населения, которое прочно интегрировано в сокращающийся в целом рынок труда, и растущего уже-больше-не-меньшинства, которое обретается в опасной зоне неполной занятости, занятости на короткое время и продолжительной безработицы и существует за счет час от часу скудеющих общественных средств или перебивается «неформальной» работой (надомным трудом, работой «по черному»). Данные по этой последней группе, живущей социальной помощью и на грани нищеты, сильно расходятся (иначе и быть не может по причине условий обеспечения). Они колеблются от двух до более чем *пяти миллионов человек*. К тому же эта группа постоянно растет, как показывает подскочившее на треть число безработных (2,2 миллиона осенью 1985 г.), которые вообще не получают пособия по безработице. Значение «альтернативных» трудовых взаимосвязей, вопреки громкому публицистическому резонансу, дает в плане занятости не очень высокий количественный показатель. При подсчетах исходят из того, что в ФРГ имеется в общей сложности около 30 000 активных групп, в которых занято от 300 до 600 тысяч человек (преимущественно молодых людей).

Индивидуализация не противоречит своеобычности этой «новой бедности», а *объясняет* ее. Массовая безработица в условиях индивидуализации обрушивается на человека как личная судьба. Она поражает людей не в социально видимой форме, как членов коллектива, а в специфические периоды их жизни. Жертвы безработицы должны в одиночку выносить то, для чего в привычных к бедности, сложившихся на классовой основе условиях жизни существуют и передаются по наследству компенсационные противодействия, формы защиты и поддержки. Коллективная судьба свободных от классовой принадлежности, индивидуализированных жизненных ситуаций стала *личной* судьбой, судьбой *отдельного* человека со статистически фиксируемым, но не воспринимаемым в жизни социальным измерением, и только потом, после дробления на личные уделы, должна сложиться в новую коллективную судьбу. Пораженная безработицей и нищетой общественная единица уже не группа, не класс и не слой, а порожденный рынком и существующий в специфических условиях *индивид*. Полным ходом идет деление нашего общества на убывающее большинство обладателей рабочих мест и растущее меньшинство безработных, преждевременно вышедших на пенсию, перебивающихся случайными заработками и тех,

кому уже вообще вряд ли удастся найти доступ к рынку труда. Это хорошо видно на примере структуризации безработицы и растущих опасных зон между зарегистрированной и незарегистрированной безработицей (см. об этом: Vuechtemann, 1984).

Доля тех, кто продолжительное время остается без работы, постоянно растет. В 1983 г. было 21%, а в 1984 даже 28% безработных, больше года не имевших работы, и ровно 10% тех, кто оставался без работы более двух лет. Это проявляется также и в резком перераспределении между теми, кто получает пособие по безработице и единовременную социальную помощь. Еще десять лет назад из 76% безработных, получавших выплаты от государства, 61% составляли получатели пособий и 15% получатели социальной помощи. В 1985 г. это соотношение драматически ухудшилось. Только 65% зарегистрированных безработных получают поддержку от государства, из них только 38% получают пособие, и теперь уже только 27% страховку по безработице.

Несмотря на широкий разброс безработица *концентрируется в группах населения, и без того находящиеся в невыгодных условиях.* Риск остаться без работы повышается для людей с низкой квалификацией или вообще не имеющих профессионального образования, для женщин, пожилых иностранных рабочих, а также для лиц, страдающих разного рода заболеваниями, и для молодежи. Ключевую роль при этом играет *продолжительность занятости* на предприятии. Этим объясняется высокий уровень безработицы среди молодежи. Еще сильнее, чем продолжительность рабочего дня, риск снова остаться без работы повышают частая смена места работы и особенно *предшествующая безработица*. И наоборот, в сложившихся условиях на рынке труда высокие шансы снова получить работу имеют «молодые квалифицированные рабочие, уволенные по личным, а не по производственным мотивам» (Vuechtemann? S. 80).

Одновременно *растут серые зоны незарегистрированной безработицы.* Это видно на примере скачкообразно растущего числа лиц, которые после потери рабочего места а/ вытесняются в «тихий резерв» (1971 – 31 000; 1982 – 322 000; б/ временно становятся участниками мероприятий по дальнейшему обучению, переучиванию и подготовке кадров (1970 – 8 000, 1982 – 130 000); в/ уходят в «другие сферы деятельности, не приносящие дохода», большей частью в работу (женскую) по домашнему хозяйству (1970 – 6 000, 1982 – 121 000); г/ «экспортируются» за границу (1970 – 6 000, 1982 – 171 000).

Эта четкая и постоянно ужесточающаяся *социальная структуризация* безработицы сопровождается ее *широким разбросом*, который давно уже объективно снял с нее печать «классового опыта» и превратил в «норму».

Постоянному числу безработных (их число превышает два миллиона) *противостоит значительно большее число затронутых безработицей.* Так, с 1974 по 1983 г. ровно 12,5 миллионов человек один или несколько раз лишались работы. Иными словами, каждый третий трудоспособный по меньшей мере один раз за это время испытал на себе, что значит быть безработным.

Ни одна квалификационная или профессиональная группа *не дает гарантий от безработицы.* Призрак безработицы угнездился даже там, где его трудно было бы представить. Безработица среди квалифицированных рабочих тоже возросла (1970 – 108 000, 1985 – 386 000), так же как среди инженеров (машиностроение, автомобилестроение, электропромышленность и т.д.: 1980 – 7 600, 1985 – 2ш 900) или врачей (1980 – 1 434, 1985 – 4 119; по данным Федерального ведомства занятости).

Однако это не следует понимать так, будто все затронуты безработицей в *одинаковой мере.* Несмотря на специфическое распределение по группам в тот же период времени *две трети* трудоспособных *ни разу* не лишались работы. Из 33 миллионов работающих теряли работу «только» 12,5 миллионов человек – а это значит, что каждый пострадавший был безработным в среднем 1,6 раза.

Особая примета массовой безработицы – ее *двусмысленность*: с одной стороны, риск остаться без работы грозит *и без того ущемленным группам населения* (трудоспособные женщины, матери, лица без профессии, молодые рабочие низкой квалификации). Их растущее число статистикой не регистрируется. Этим факторам риска – как бы настойчиво ни выражался в них признак социального происхождения – *все же не соответствуют никакие социальные обстоятельства жизни*, часто не соответствует и «культура бедности». Безработица здесь (и следующая за ней бедность) все больше и больше совпадает с лишенной классовых примет *индивидуализацией*. С другой стороны, не меняющееся количество безработных, которое вот уже много лет значительно превышает два миллиона и имеет стабильную перспективу вплоть до 90-х гг., создает обманчивое впечатление, что безработица не роковая неизбежность. Она входит в жизнь незаметно и на время, приходит и снова уходит, чтобы когда-нибудь придти и осесть, угнездиться в душе человека тяжестью неодолимого *разочарования*.

Эту ситуацию образно описал Шумпетер: автобус массовой безработицы заняла группа постоянных безработных, они оккупировали сидячие места. Другие пассажиры все время входят и выходят. Одни входят, другие выходят. В этом движении при наблюдении извне, например, с высоты птичьего полета, из сопровождающего автобус вертолета, можно выделить некоторые особенности и соответствующие группы. Непосредственные участники видят собравшуюся на некоторое время вместе толпу одиночек, ждущих, когда им выходить. Это как в метро. Проезжаешь несколько остановок и снова выходишь на поверхность. Садясь в вагон, уже думаешь, где будешь выходить. Люди ведут себя скованно. Желание выйти, которое каждый несет в себе, и история о том, как он сюда попал, не располагают к общению. И только ночью, когда поезд стоит, те, что в толчее не сумели пробраться к автоматически закрывающимся дверям и выйти (это те самые, кто, как неутешительным тоном сообщает наблюдатель, просто «статистически» не могут этого сделать по причине своей высокой численности), начинают с осторожно протянутыми сквозь решетки самообвинений руками сближаться друг с другом и разговаривать.

Подавляющее большинство безработных пока еще в собственных глазах и в глазах окружения остается в *серой зоне потери рабочего места и его нового обретения*. Классовая судьба расщепилась на свои самые малые составляющие – на «*проходящие периоды жизни*». Она дырявит разрывает на фрагменты биографии, возникает то тут, то там, нарушает границы, которые прежде были для нее священными, снова уходит и приходит, остается на продолжительное время, ожесточается, но в этом дроблении на «*фазы жизни*» становится почти нормальным промежуточным состоянием стандартной профессиональной биографии целого поколения. Массовая безработица в условиях индивидуализации ведет в соответствии с фазами жизни кочевое существование (с ощутимой тенденцией к обретению оседлости), при этом индивидуализация допускает возможность сосуществования противоречий: массовости *и* обособленности «судьбы», чисел головокружительной высоты и постоянства, которые тем не менее каким-то образом искривляются, измельчаются, в своей жестокой неотвратимости судьба как бы поворачивается внутрь себя, утаивает от одиночки, что она настигает многие миллионы, и заставляет его страдать от чувства собственной неполноценности.

Применительно к статистике безработицы это значит, что зарегистрированные на бирже труда *случаи* безработицы не позволяют *судить об отдельных лицах*. С одной стороны, временной безработицей может быть затронуто значительно большее количество людей, чем отражено в постоянстве чисел. С другой, одни и те же лица могут через некоторое время многократно заявлять о потере рабочего места. Возвращаясь к примеру с метро, можно сказать, что количество сидячих и стоячих мест не совпадает с количеством входящих и выходящих пассажиров. Однако при входе и

выходе нередко выстраиваются одни и те же давно знакомые лица, так что подсчет потоков еще ничего не говорит о количестве пострадавших от безработицы: *случаи регулярной и случайной потери рабочего места при распределении в соответствии со специфическими фазами жизни не совпадают*. Соответственно высок и эффект массового распространения. Безработица, распределенная по отдельным судьбам, уже не является судьбой классов или маргинальных групп, Это обобщенная судьба, ставшая нормой жизни.

Специфическое распределение по фазам жизни характерно и для *новой бедности*. Становится понятной двусмысленность, с которой бедность распространяется, усугубляется, но применительно к частной жизни каждого остается скрытой. При этом временное лишение работы оказывается отнюдь не временным, для все большего числа людей оно становится постоянным, но вначале *воспринимается* как временное явление. Особенно сильно бедность угрожает *женщинам*. Причем не по недостатку образования или особенностям происхождения. Решающим фактором скорее выступает *развод*, который отбрасывает их – особенно женщин с детьми, – за черту прожиточного минимума. Но и в этом случае многие живут не так, как диктуют стереотипы жизни низших слоев населения. Бедность они нередко воспринимают как *временное* явление. Им кажется (нередко так оно и бывает), что стоит только выйти замуж – и с бедностью будет покончено. Но если это не удастся, тем беспощаднее к ним бедность, так как им неведомы возможности культуры, позволяющей жить в нищете и скрывать ее.

Быть бедным в ФРГ – просто скандал, поэтому нищету старательно скрывают. Неизвестно, что хуже – признаться в бедности или скрыть ее, получать помощь от государства или продолжать терпеть лишения. Цифры – вот они, перед нами. Но неизвестно, где скрывающиеся за ними люди. Остаются следы. Отключенный телефон. Неожиданный выход из клуба. Но все это говорит о чем-то на первый взгляд временном; новая бедность хочет казаться временной даже там, где она обосновалась окончательно.

Это развитие настолько обоюдоострое, что о нем можно говорить только в двойном смысле, каждый раз добавляя к сказанному нечто противоположное. Скандалная ситуация с постоянной массовой безработицей, поразившей на длительное время более двух миллионов человек, таким образом теряет свою остроту. Массовая безработица, разложенная на (вроде бы) преходящие фазы жизни, загоняется в рамки нормы. Безработица большой группы населения расплывается по индивидуальным «случаям» и не вызывает политических протестов. Она напоминает «выдохшийся порох», взрывная сила которого тем не менее сохранилась и может неожиданно вырваться наружу.

В условиях скандалной массовой безработицы такая форма распределения имеет и свои смягчающие моменты. Там, где безработица и впрямь остается временным явлением, она, будучи распределенной среди множества лиц, не обрушивается со всей жестокостью на один класс, а определенным образом демократизируется. Даже «те наверху» от нее теперь не гарантированы. Необходимо еще раз подчеркнуть, что в этом кроется опасность, связывающая и парализующая политические силы. Иначе говоря, в этой частичной демократизации массовой безработицы кроется и частичное *перераспределение бедности*, выравнивание шансов сверху вниз.

Этому соответствует определенный биографический образчик распределения. То, что раньше было групповой судьбой, сегодня – с многими оговорками – распределяется, так сказать, по *биографическому* принципу. Говоря упрощенно, противоречия социального неравенства всплывают как противоречия между разными этапами *одной* биографии. Утрируя наблюдаемую тенденцию, можно утверждать, что индивидуализация делает биографии людей разностороннее, антагонистичнее, уязвимее, неопределеннее, беззащитнее перед лицом катастроф, но и ярче, многообразнее, противоречивее – вплоть до факта, что все большее количество

разнее, противоречивее – вплоть до факта, что все большее количество населения по крайней мере «временно» бывает подвержено безработице (и нищете).

Обратная сторона временного проявления безработицы – *превращение внешних причин во внутреннюю вину, в системную проблему личной несостоятельности*. Преходящая безработица, которая после многих попыток ее преодоления превращается в долговременную и непреходящую, – это *крестный путь самопознания*. В постоянном исключении возможного безработица как нечто внешнее шаг за шагом внедряется в человека, становится свойством его характера. Новая бедность – это прежде всего материальная проблема, но не только. Она в то же время и безропотно принимаемое саморазрушение личности, которое протекает в тщетных ритуальных попытках уклониться от неизбежного; если присмотреться, массовая судьба полнится такими саморазрушениями.

Данная взаимосвязь, вероятно, смягчается знанием причин и статистических данных о массовом характере безработицы, но на деле не вскрывается. Ссылка на «общественную обусловленность» остается ссылкой, не находящей соответствия в обстоятельствах жизни. *Цифры и жизнь* дрейфуют в разные стороны. Случаи – это еще не люди. *Цифры* говорят о жизни, которую они уже интерпретировать применительно к определенному месту. Цифры указывают на потерянную уверенность в завтрашнем дне, на распространение нищеты, но не сводят факты воедино, не выводят их из изоляции. Они напоминают фиксацию следов, оставленных коллективом одиночек. Тем самым они превращаются в абстрактный знаменатель, благодаря которому одиночки узнают о своем коллективе, точнее, могут услышать о нем. Цифры *подменяют* социальную действительность, которая не в состоянии познать самое себя. Они – остаточная «оболочка классов», которые сохраняются благодаря абстрактной статистике. То, что кроется за цифрами, в процессе индивидуализации исчезает за оградой отдельного случая, и выманить это оттуда становится все труднее.

В конце концов попытки вырваться из клишеобразного деления ролей на «женские» и «мужские» и придать собственной жизни немного самоопределения даже создают фон, на котором опасность безработицы может превратиться в *шанс*. То, что в 19 в. называлось «пролетаризацией», обретает *блеск социального продвижения в «другое» общество*. Возникающее новое социальное неравенство частично преломляется в ином социально-культурном горизонте ожидания, который уже не верит несокрушимо в самоочевидность ориентированной на жизненный статус и доход идеи подъема по социальной лестнице, лежащей в основе социального неравенства. Здесь конкурируют содержательные притязания на «смысл работы», на социальную пользу, на то, что называют «полнотой жизни», с ценностями экономической безопасности и представлениями о статусе. В крайнем случае в борьбе с «бездуховностью» ориентированной на доход и успех работы в промышленности или чиновничьем аппарате можно даже использовать частицу осмысленного, одухотворенного труда, отвоеванного у превосходящих сил обстоятельств. Как результат в социо-культурном сдвиге стилей и форм жизни и связанной с этим текучести масштабов неравенство несколько снижается. В конечном счете неясно, где больше отчуждения – в экономически и социально обеспеченном существовании или в ненадежной с экономической точки зрения борьбе за новые формы жизни. Именно этот культурный сдвиг и *распльвчатость масштабов распределения*, служившие в прошедшие столетия оружием критики социального неравенства, стали теперь той завесой, за которой теряет четкие очертания даже обостряющееся неравенство и которая, поглощая сопротивление, в свою очередь способствует обострению этого неравенства.

5. Сценарии будущего развития

Что же, собственно, произойдет, если в ходе исторического развития жизненная идентичность социальных классов исчезнет *и одновременно* обострятся социальные противоречия? Вот вопрос, который становится главным. Если связанные с наемным трудом риски будут распространяться не по моделям больших групп «пролетаризации», а делиться на маленькие, временные, а потом и отнюдь не временные периоды безработицы, неполной занятости, бедности? Станет ли это *концом* классов или *началом* новой, нетрадиционной модели образования классов? Позволит ли состояние неравенства социальных структур в процессе индивидуализации вообще осмыслять себя в иерархической модели социального неравенства? Способствует ли индивидуализация (например, через посредство СМИ) образованию новых групп, живущих в совершенно ином ритме, но имеющих и другой радиус действия? В каком направлении будут идти вызванные индивидуализацией поиски новой социальной идентичности, новых форм жизни и политической активности, в какие конфликты и противоречия они будут вовлечены?

Сопоставим три ни в коей мере не исключających друг друга варианта:

1. Конец традиционного классового общества станет началом освобождения классов от региональных и партикулярных ограничений. Откроется новая глава в истории классов, которую еще нужно будет написать и осмыслить. Разрыв классов с традициями в ориентированном на достижения всеобщего благоденствия капиталистическом обществе мог бы соответствовать модернизации образования классов, которая будет опираться на уже достигнутый уровень индивидуализации, переосмыслить его социальное и политическое значение.

2. В ходе намеченного развития предприятия и рабочие места утратят свое значение узла, где возникают конфликты и складывается идентичность, и появится новый узел складывания социальных взаимосвязей и конфликтов – там, где *оформляются частные, private социальные отношения, формы жизни и труда*; соответственно с этим сложатся новые социальные структуры, идентичности и движения.

3. Будет происходить все более заметное отделение системы полной занятости от системы гибкой, множественной, индивидуализированной неполной занятости. Обостряющееся неравенство будет задерживаться в серой зоне. Центр тяжести жизни переместится с рабочего места и предприятия в сторону образования и испытания новых форм и стилей жизни. На передний план выдвинутся противоречия между мужчинами и женщинами, возникающие в ходе ломки семейных отношений.

Возникновение внесловной классовой солидарности

Новая бедность затаивается в молчании и растет в нем. Это столь же скандальное, сколь и затруднительное состояние, которое срочно нуждается в организационной и политической защите. Без этого сам факт так и останется без самоосмысления и выявления. Однако бедность, которая образуется в социально-структурных резервуарах классов и их политических организаций, скрывается и обостряется в индивидуализации, *от этого отнюдь не исчезает*. Напротив, она становится выражением *массовой лабилизации* условий жизни при современном капитализме, действенная политическая сила которой столь же нова, сколь непредсказуема и глобальна. На чем основывается впечатление «безбидности» такого развития? Оно подвешено на двух шелковых нитях: на приходе и уходе массовой безработицы для миллионов людей и на совпадении безработицы с исторически заданной социокультурной фазой испытания, в которой жизненные судьбы становятся уязвимыми и должны заново «переживаться» (в активном значении этого слова). Но и то и другое может обернуться своей противоположностью: по меньшей мере одной трети активно трудоспо-

собного населения безработица не только угрожает; эта треть хотя бы раз в жизни на собственной шкуре узнает, что это такое. Цифры зарегистрированной продолжительной безработицы демонстрируют внушительную тенденцию к росту. К глубокой неуверенности в основополагающих аспектах жизни (отношения между полами, брак, семья, цивилизационные угрозы) добавляется глобальная материальная неуверенность в образе жизни; зарегистрированная безработица двух с половиной миллионов человек – лишь верхушка айсберга. Тревожит не только снижение материального уровня жизни, выражающееся в росте числа получателей социальной помощи и празднующихся. Сюда следует добавить и глобальный шок, вызванный нестабильностью материального положения среди тех, кто за благополучным фасадом ведет нормальную жизнь – вплоть до наилучшим образом интегрированных в систему, хорошо зарабатывающих квалифицированных рабочих и семей высокопоставленных чиновников. Этот эффект расширения и отзвука массовой безработицы четко проявляется в резком несоответствии между зарегистрированными «случаями» (более двух с половиной миллионов) и фактически затронутыми этой бедой (значительно больше *четырнадцати миллионов* человек). Обратная сторона массовой безработицы – это ее экспорт в некогда абсолютно благополучные сферы занятости. Исчезает надежда, что *«уж меня-то» безработица обойдет стороной*. Ее призрак бродит (почти) везде и уже начинает творить свое черное дело в благополучных кварталах и летних особняках. И наоборот: страх нельзя прогнать, успокаивая себя мыслью, что будешь получать социальную помощь, о которой среднестатистический индус может только мечтать. Страх гнездится и в попавшем в аварию «мерседесе», и в стареньком «фольксвагене». Буравящий мозг страх, а не утешение, что люди третьего мира могут только мечтать о подобной помощи, – вот определяющий будущее политический фактор в (бывшей) стране экономического чуда ФРГ.

На этом фоне дискуссии в традиционных классовых категориях не становятся содержательнее. Спор о рабочем классе и рабочем движении во второй половине 20 в. отмечен печатью *ложной альтернативы*. С одной стороны, приводятся все новые и новые многочисленные аргументы, указывающие на то, что положение рабочего класса при капитализме значительно улучшилось (материальное благосостояние, открывающиеся возможности получить образование, профсоюзная и политическая организованность и завоеванные права на социальные гарантии). С другой стороны, утверждается, что несмотря на все улучшения классовая ситуация, то есть отношение к наемному труду и связанные с этим зависимость, отчуждение и риски остаются неизменными, более того, они даже получили широкое распространение и обострились (массовая безработица, потеря квалификации и т.п.). Цель аргументации в первом случае – доказать, что рабочий класс *распадается*, во втором – что он *продолжает существовать*; соответственно этим явлениям даются разные политические оценки.

В том и другом случае не осознается главное направление развития, а именно то, *исторический симбиоз сословия и класса разлагается, причем таким образом, что, с одной стороны, сословные субкультуры исчезают, а, с другой стороны, генерализируются основополагающие признаки классового характера*. Вследствие разрыва социальных классов с унаследованным опытом становится все труднее соотносить возникновение солидарности между группами и *рабочими* коллективами с историческим прообразом «пролетария-производственника». Разговор о «рабочем классе», «классе служащих» и т.д. теряет конкретность, в результате чего отпадает основание и предмет бесконечного обмена аргументами на тему, «обуржуазивается» ли пролетариат или «опролетариваются» служащие. В то же время динамика рынка труда охватывает все более широкие круги населения; группа тех, кто не зависит от заработной платы, становится все меньше, а группа тех, кто стремится выйти на рынок труда (женщины!), все больше. При всех различиях растут также и общности, особенно *общность риска*, стирается разница в доходах, в уровне образования.

В результате с одной стороны значительно *расширяется* потенциальная и реальная клиентура профсоюзов, но, с другой стороны, она же подвергается и новым опасностям: в образе пролетаризации уже содержится мысль об объединении пострадавших перед лицом очевидного материального обнищания и переживаемого отчуждения. Напротив, риски, связанные с наемным трудом, сами по себе *не создают* общностей. Для их преодоления требуются социально-политические и правовые мероприятия, которые в свою очередь влияют на индивидуализацию социальных претензий; трудовые риски вообще могут осознаваться только в их коллективности – в противовес индивидуально-терапевтическим формам обращения с ними. Таким образом, профсоюзные и политические формы воздействия вступают в конкуренцию с индивидуализирующими правовыми, медицинскими и психотерапевтическими формами обслуживания и компенсации, которые в зависимости от обстоятельств бывают много конкретнее и лучше помогают пострадавшим справляться с возникающими невзгодами и тяготами.

От приватизма семейного к приватизму политическому

Многие социальные исследования в 50-е и 60-е гг. показали, что в западных индустриальных странах отношение людей к работе можно понять только исходя из сочетания семейной жизни и трудового процесса. Становится очевидным, что для индустриальных рабочих главное в жизни семья, а не наемный труд.

Это весьма противоречивое, стимулируемое индустрией культуры и досуга развитие частной сферы – не просто идеология, а *реальный* процесс и *реальный* шанс самостоятельного создания условий жизни для себя. Этот процесс начинается с семейного приватизма, характерного для 50-х и 60-х гг. Но он может, как со всей очевидностью выявилось позднее, принимать разнообразные формы и развивать собственную динамику, которая в конечном счете придает приватизму внутреннюю политическую силу и размывает границы между частной и общественной сферами. Это проявления не только в смене значения семьи и сексуальности, брака и отцовства (материнства), но и в быстрой смене альтернативных культур. Совершенно новым и, вероятно, более глубоким, чем в ходе политических реформ, образом общественно-политическое устройство по причине перманентной эрозии и эволюции социокультурных форм жизни подвергается давлению постоянной практики изменения и приспособлений в «малом». В этом смысле разрыв с традициями, обозначившийся в последние десятилетия, освободил дорогу процессу обучения новому, результатов исторического воздействия которого (например, на воспитание и взаимоотношения полов) мы с нетерпением ожидаем.

В 50-е и 60-е гг. на вопрос, какую цель они преследуют, люди четко и ясно отвечали в категориях «счастливой» семейной жизни: построить собственный домик, купить автомобиль, дать детям хорошее образование, повысить уровень своей жизни. Сегодня многие говорят на другом языке, по необходимости неопределенном – о «самоосуществлении», «поисках собственной идентичности», «развитии личных способностей» и о необходимости «постоянно двигаться вперед». Это не относится в одинаковой мере ко всем категориям населения. Тяга к переменам, к получению лучшего образования и более высоких доходов – в значительной мере продукт младшего поколения, тогда как старшие поколения, более бедные и менее образованные слои населения, явно придерживаются ценностей 50-х гг. Общепринятые символы успеха (доход, карьера, статус) для многих уже не несут удовлетворения проснувшейся потребности обретения себя, самоутверждения, не утоляют голод по «полноценной жизни».

В результате люди все чаще попадают в лабиринт неуверенности в своих силах, самовыспрашивания и самоубеждения. Постоянное возвращение к вопросам ти-

па «счастливы ли я на самом деле?», «действительно ли я живу полноценной жизнью?», «кто на самом деле тот, кто говорит во мне «я» и задает эти вопросы?» ведет к все новым и новым модам на ответы, которые разными способами перечеканиваются в рынки экспертов, индустрий и религиозных движений. В поисках самоосуществления люди, пользуясь каталогами туристических бюро, объезжают все уголки земли. Они разрушают самые прочные браки и вступают во все новые кратковременные связи. Меняют профессии. Постытятся. Увлекаются йогой. Переходят из одной психотерапевтической группы в другую. Одержимые идеей самоосуществления, они отрывают себя от земли, чтобы убедиться, что у них действительно здоровые корни.

Эта ценностная система индивидуализации содержит в себе начало новых этик, базирующихся на принципе «обязанностей по отношению к самому себе». Это сталкивает традиционную этику с трудностями, поскольку обязанности по необходимости носят социальный характер, согласовывают и переплетают поступки каждого с жизнью всего общественного организма. Поэтому новые ценностные ориентации ложно понимаются как выражение эгоизма и нарциссизма. При этом не осознается ядро нового, которое здесь проявляется. Оно направлено на самообъяснение и самоосвобождение как деятельный, жизненно важный процесс, включающий в себя и поиски новых социальных связей в семье, труде и политике.

Политическая сила рабочего и профсоюзного движения основана на организованном (забастовка) отказе от работы. Политический потенциал развивающейся частной сферы лежит, напротив, в осознании возможностей самоосуществления, в том, чтобы через непосредственные усилия по изменению привычного ослабить и преодолеть глубоко укоренившиеся в культуре самоочевидные вещи. Проиллюстрируем это на примере. «Сила» женского движения *тоже* связана с перестройкой повседневных, само собой разумеющихся привычек, которые простираются от семейного быта через все сферы формального труда и правовой системы до жизненно важных центров и с помощью политики булавочных уколов требуют от основанного на «словном» принципе, закрытого мужского мира болезненных изменений. Говоря обобщенно, подвергающиеся риску осознанно воспринимаемые и постоянно расширяющиеся сферы частных поступков и решений таят в себе искру, из которой может возгореться (по-иному, нежели в классовом обществе) пламя социальных конфликтов и движений.

Индивидуализированное «общество несамостоятельных»

Мотор индивидуализации работает на высоких оборотах, и до сих пор неясно, каким образом будут учреждаться новые прочные социальные взаимосвязи, сравнимые с глубинной структурой социальных классов. Напротив, в ближайшие годы для преодоления безработицы и стимулирования экономики должны быть пущены в ход социальные и технологические новшества, которые откроют новые горизонты процессам индивидуализации. Это касается гибкости отношений на рынке труда и особенно введения нового регулирования рабочего времени; Но это касается также и внедрения новых информационных и коммуникативных средств. Если это предположение подтвердится, то возникнет своеобразная переходная стадия, в которой сохранившееся или обострившееся неравенство придет в столкновение с индивидуализированным «постклассовым» обществом, которое порвало с традициями и больше не имеет ничего общего с бесклассовым обществом, каким оно виделось Марксу.

1. Общественные институты – политические партии, профсоюзы, правительства, социальные учреждения и т.д. – превращаются в охранителей социальной действительности, обреченной на быстрое исчезновение. В то время как образ жизни класса, семьи, женщины, мужчины будет терять реальное содержание и устремленность у будущее, его станут консервировать в «охранительных учреждениях» и ис-

пользовать в борьбе *против* «отклонений» в развитии ориентации. Недостающее классовое сознание будет прививаться на курсах партийной учебы. Политически «неустойчивый» электорат будет возвращаться в прежнее русло заклинаниями о «демократии настроений». Новое общественное устройство будет отделяться от законсервированного индустриального общества, утратившего связь с действительностью. Перефразируя Брехта, можно было бы сказать: мы окажемся в ситуации, когда правительства будут вынуждены выбирать себе народ, а союзы встанут перед необходимостью исключать своих членов.

2. Социальные классовые различия утрачивают свою идентичность, *заодно теряет привлекательность идея социальной мобильности* в смысле движения индивидов из одной большой группы населения в другую, идея, которая вплоть до нашего времени играла большую социальную и политическую роль в формировании идентичности. Но неравенство не устраняется, а только переносится в область *индивидуализации социальных рисков*. В итоге общественные проблемы тут же оборачиваются психическими предрасположенностями: неудовлетворенностью собой, чувством вины, страхами, конфликтами и неврозами. Возникает – довольно парадоксальным образом – *новая непосредственность* индивида и общества, непосредственность кризиса и болезни в том смысле, что общественные кризисы кажутся индивидуальными и больше не воспринимаются в их общественной содержательности или воспринимаются крайне опосредованно. Здесь следует искать корни нынешней «волны психозов». В той же степени возрастает значение ориентации на индивидуальный успех; можно сказать, что ориентированное на успех общество с его возможностями (кажущейся) легитимизации социального неравенства в будущем проявит себя во всей своей проблематичности.

3. Для преодоления проблемных общественных ситуаций люди вынуждены объединяться в социальные и политические коалиции. Однако эти коалиции будут создаваться уже не по определенной схеме, например, классовой. Изоляция осознавших свою самостоятельность индивидов может быть преодолена на самых разных путях общественно-политического развития. Соответственно коалиции будут возникать и распадаться по ситуационным и тематическим признакам, в них будут перемешаны представители самых разных групп и различного общественного положения. Например, для борьбы с шумом, создаваемым самолетами вблизи аэропорта, в гражданскую инициативу вместе с соседями может войти член профсоюза металлистов, голосующий за правый блок. Коалиции в этом смысле суть возникающие в определенных ситуациях и с определенной целью союзы личностей в их индивидуальной борьбе за существование на самых разных общественных аренах. На этом примере видно, как в ходе индивидуализационных процессов конфликтные линии и темы претерпевают своеобразную плюрализацию. В индивидуализированном обществе готовится почва для новых, разнообразных, взрывающих прежние схемы конфликтов, идеологий и коалиций – более или менее тематически связанных, отнюдь не единых, возникших в определенных ситуациях усилиями отдельных людей. Возникающая социальная структура становится восприимчивой к *пропагандируемым средствами массовой информации модным темам и конфликтным модам*.

4. Устойчивые конфликтные линии все чаще возникают на основе «врожденных» признаков – расы, цвета кожи, пола, этнической принадлежности (иностранцы рабочие), возраста, телесных изъянов. Подобное социальное неравенство, как бы предопределенное самой природой, в условиях развитой индивидуализации получит особые организационные и политические шансы на основе его неизбежности, протяженности во времени, его противоречивого отношения к принципу успеха, его конкретности и непосредственной воспринимаемости, а также на основе обусловленных всем этим процессов идентификации. На передний план выступают две эпохальные темы: угроза, которую несет в себе (мировое) общество риска (см. часть I) и проти-

воречия между мужчинами и женщинами, до сих пор не выходящие за пределы семьи.

Перевод В.Д. Седельника

Послесловие

"Общество риска" как политический трактат по фундаментальной социологии

I.

Многим нашим специалистам в области социальных наук хорошо известны работы Ульриха Бека. Первый перевод одной из его статей на русский язык был опубликован шесть лет назад², и если тогда его известность в России была еще не столь велика, то теперь его имя чуть ли не у всех на слуху. Тем более уместно будет предварить статью, посвященную "Обществу риска", биографическими сведениями об авторе знаменитой книги³.

Ульрих Бек родился в 1944 г. В 1966-м он поступил сначала на юридический факультет Фрайбургского университета, однако вскоре перешел в Мюнхенский, где изучал философию, социологию, психологию и где в 1972 г. блестяще⁴ защитил свою первую диссертацию. После этого Бек работал в исследовательском подразделении университета, при кафедре известного специалиста по социологии труда и социальной структуры К.М. Больте. В 1978 г. он стал ассистентом этой кафедры, а еще через год защитил вторую диссертацию, получил право на самостоятельное преподавание и почти сразу же – приглашение на кафедру социологии сначала в университет Гогенгейма, а вслед за тем – в куда более престижный и знаменитый Мюнстерский университет. Здесь вместе с одним из самых влиятельных немецких социологов Х. Гартманом он приступил к изданию журнала "Soziale Welt" ("Социальный мир"), а в 1982 г. стал его ответственным редактором. В 1981 г. Бек принимает предложение занять профессорское место в Бамберге, в 1989 г. – в Эссене, наконец, в 1992 г. он возвращается в Мюнхен, теперь уже профессором, директором Социологического института Мюнхенского университета. В настоящее время Ульрих Бек преподает также в Лондонской Школе Экономики. В 1996 г. университет г. Юваскюле (Финляндия) присудил ему почетную докторскую степень. В этом же году он был отмечен премией за заслуги в области культуры Мюнхена, а в 1997 г. – наградой Германно-Британского Форума.

Областью интересов Бека была сначала социология труда и социология профессий. Постепенно центр тяжести его исследований сместился сначала к проблемам неравенства, затем – экологии и, наконец, – современности. Именно исследования в области экологии и по теории модерна вывели Бека на проблематику общества риска, и уже отсюда он перешел к тому широкому кругу проблем, включая, разумеется, и одну из самых звучных и актуальных ныне тем – "глобализацию", – сильная и оригинальная разработка которых сделала его одним из самых интересных современных социологов. Ключевой, важнейшей публикацией Ульриха Бека является "Общество риска".

² См.: Бек У. От индустриального общества к обществу риска / Пер. А.Д. Ковалева // THESIS. 1994. № 5. С. 161–168.

³ Я признателен г-же Клаудии Брандес (издательство "Зуркамп") за предоставленные биографические сведения об авторе

⁴ Это в общем, скорее вводящий в заблуждение, эмоциональный аналог *официальной* оценки диссертации "summa cum laude".

II

"Общество риска" – в точном смысле слова *эпохальная* книга, если и не *составившая* эпоху, то, всяком случае, как говорят немцы, *соопределившая* ее, еще точнее: как мало какое другое социологическое сочинение ясно обозначившая наступление нового времени, той самой социальной ситуации, которую мы сейчас *проживаем* на собственном опыте и об основных социологических характеристиках которой полтора десятка лет назад догадывались многие, а выразить в точных научных понятиях не сумел почти никто. Труд Ульриха Бека принадлежит к тем важным сочинениям, которые задали (по меньшей мере в европейской науке) *новый тон* социологического рассуждения. Он в значительной степени способствовал преодолению почти неистребимой склонности к спорам о самых абстрактных основаниях социологического мышления, которая составляет одновременно и самое драгоценное свойство немецкой социальной науки, и важнейшее препятствие на пути постижения *действительности*.

Социология должна быть наукой о действительности. Это важное положение по-разному интерпретировалось на протяжении последнего века истории нашей науки. Генрих Риккерт, Макс Вебер, Толкотт Парсонс связывали с ним свое понимание социологии; Ханс Фрайер, Хельмут Шельски, Питер Бергер и Томас Лукман включают слово "действительность" в названия своих программных социологических трудов⁵. Но действительность, в общем, трудноуловима. Конечно, социологи стремятся постигнуть "то, что есть", а не, скажем, "то, что должно быть". Но что значит "есть"? Согласимся ли мы, что моментальный снимок совокупности социальных событий и есть картина действительности? И что последовательный ряд таких снимков "еще более" полная картина? Что события, таким образом, равноправны, что фактография и есть призвание социальной науки? Разумеется, нет. Сказать, что "социология – это наука о действительности" – значит не сказать почти ничего. Надо найти хотя бы правило отбора значимых фактов, а для этого – определить характер самой действительности. Но определяется она социологами по-разному, а потому возникают споры о том, как правильно подойти к этому сложному предмету, не является ли действительность – если только она есть нечто иное, чем совокупность моментально зафиксированных фактов – лишь теоретической конструкцией. И тогда главной проблемой становится то, в чем, собственно, заключается превосходство одной конструкции над другой. Споры о действительности переходят в споры о способах постижения действительности, о способах понимания, объяснения и конструирования знания как такового, о непреодолимости принципиально ложного в социальном познании, даже если (и именно тогда, когда) оно объявляет себя позитивной наукой о фактах... Социология превращается в методологию, вопросы обоснования знания оказываются центральными по сравнению с вопросами более содержательными. "Объяснение или понимание?", "макросоциология или микросоциология?", "номинализм или реализм?", "позитивизм или критическая теория?", "функционализм или интеракционизм?" – список популярных дилемм можно продолжить. Они не мнимы, они подлинно важны. Но их обсуждение то и дело становится самоцелью, вырождается в методологическую схоластику в худшем смысле⁶. И совсем немногим удается

⁵ См.: Freyer H. *Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft* (1930). Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft, 1964; Schelsky H. *Auf der Suche nach Wirklichkeit*. Düsseldorf-Köln: Eugen Diederichs, 1965; Berger P., Luckman N. *The Social Construction of Reality*. N.Y.: Doubleday, 1966. В русском переводе: Бергер П., Лукман Т. *Социальное конструирование реальности* / Пер. Е.Д. Руткевич. М.: Медиум, 1995.

⁶ Не то чтобы социология вообще не занималась конкретными проблемами, напротив, на послевоенные десятилетия приходится настоящий расцвет социологической фактографии, как раз этим социологи преимущественно и занимаются по всему миру. И получается так, что одни составляют руководства по отстрелу медведей, никогда не брав в руки ружья, а другие (имя им – легион) преуспе-

сделать то, что, собственно, и оправдывает существование социологии как особой дисциплины: дать обществу шанс по-новому взглянуть на себя самое, дать не просто сведения о совокупности фактов и тенденций, но обозначить новую перспективу рассмотрения и оценки существующего. К числу таких авторов относится и Ульрих Бек⁷.

"Общество риска" не первая и не самая новая книга Бека, не первая и не самая новая книга о риске и социологии риска⁸, наконец, это очень спорная, провоцирующая дискуссии книга. Тем самым не умаляется, но только подтверждается ее значение. Даже через полтора десятка лет после выхода в свет она остается глубокой и актуальной. Вместе с тем это книга очень неоднозначная, многослойная и многомерная. Множеством тончайших нитей она связана с немецкой и мировой социологией. Но, чтобы увидеть это, иногда приходится преодолевать энергию текста и выходить за его пределы, преодолевать с трудом, потому что "Общество риска" – это книга, написанная на редкость хорошо для социолога, потому что она доступна любому интеллигентному читателю, не только узким специалистам. Книга Бека обращена к обществу, и в этом качестве она вообще не нуждается ни в представлении, ни во введении, ни в заключении, ни в дополнительных комментариях. Завоевав известность "как есть", она по-прежнему говорит сама за себя, без посредников. Но о том, *что еще* значит этот текст в контексте социологического знания, помимо ясно и недвусмысленно выраженного послания читателю, стоит все-таки сказать отдельно.

III

Пожалуй, несколько неожиданным будет утверждение, что "Общество риска" – это политический трактат по общей социологии. Смысл этой формулировки будет прояснен ниже. Пока зафиксируем только то обстоятельство, что Бек подвергает ревизии важнейшие основания социологического знания и – при всей новизне его концепции – остается в русле социологической традиции, заново переосмысленной, а частично вновь актуализированной.

Непосредственным образом он полемизирует с концепцией модерна как индустриального общества и ревизует ее весьма решительным образом. Первые главы "Общества риска" посвящены, так сказать, самопреодолению индустриального модерна и, следовательно, необходимости иной и новой социологии. Конечно, мы не можем, да и не должны проследивать здесь все тонкие линии его аргументации, но, по крайней мере, некоторые из них таковы. Общество индустриального модерна столкнулось с последствиями своего собственного функционирования. Оно меняется, поскольку подрываются и исчезают его важнейшие основы, в частности, важнейшие классовые различия и ориентация на производительный труд и рост богатства. Вместо этого появляется всеобщая опасность, страх, неуверенность и всеобщее равенство в страхе и неуверенности.

вают в ловле мух на клейкую ленту, даже не подозревая, что бывает настоящая охота – на крупного зверя.

⁷ Вот характерные высказывания. Бек говорит, что "эпохальные различия порождаются ныне самой действительностью" (наст. изд. С. 10). В другой книге он констатирует, что "роль социологии – особая; она должна стать теми глазами, [которыми можно увидеть] действительность, вытесняемую и отрицаемую старыми институтами и старым мышлением" (Beck U. *Die Erfindung des Politischen*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1993. S. 273). Тем самым он недвусмысленно заявляет свое понимание социологии как науки о действительности.

⁸ Проблематика риска и оценки рисков вообще возникает безотносительно к социологии. Но именно Бек, чуть позже, чем Мери Дуглас и Аарон Вилдавски, и чуть раньше, чем Никлас Луман, ввел эту проблематику в широкий социологический оборот. См.: Douglas M., Wildavsky A. *Risk and Culture: An Essay on Selection of Technological and Environmental Dangers*. Berkley (Cal.), 1982; Douglas M. *Risk Acceptability According to Social Sciences*. London, 1985; Luhmann N. *Soziologie des Risikos*. Berlin, N.Y., 1991.

Разумеется, мы упростили аргумент до предела. Тем не менее даже в этой (а быть может, тем более в этой) форме он обнаруживает свою фундаментальную природу. Присмотримся к нему поближе. Итак, производство ради богатства (и его обратная сторона – недостаточность благ и наемный труд). Очевидно, что это производство невозможно без определенных технологических знаний. Знания носят объективный характер, а уровень знаний означает, собственно, степень овладения предметом. Чем больше знаешь, тем лучше овладеваешь, тем значительнее получаемая прибыль. *Sachlichkeit* (деловитость, предметность) – говорят немцы, и этот излюбленный термин немецких классиков социологии означает не просто "объективность" как беспристрастность, но и нечто такое, что имеет отношение к "*Sache selbst*", "самой вещи". Тот, кто желает добиться цели, должен быть рационален, то есть объективен. Вещи диктуют нам, *как* применять их, как и какие использовать средства. Мы выбираем только цель. Но так ли это? Есть цели, которые недостижимы никакими средствами – знание *вещей* позволяет нам об этом судить. Значит, будучи объективными, мы не должны ставить эти цели. Есть промежуточные цели, которые надо поставить, чтобы получить средства для других, более отдаленных целей. Ставя себе цели в области средств, мы снова подпадаем диктату вещей. Если же высшие, последние цели (например, спасение души) недостижимы в мире вещей, то любые операции в этом последнем рациональны лишь постольку, поскольку мы подчиняемся им. Средства превращаются в самоцель, и объективность в выборе цели означает, что мы уступаем *давлению силы вещей* (*Sachzwang*⁹). Подчинение вещей человеку означает подчинение человека вещам. Социологи разыгрывают партию на два голоса: одни говорят о том, что произвольное целеполагание утопично и бесперспективно, другие требуют преодолеть *овеществление*. Для одних рациональное знание и поведение в природе должно найти продолжение в рациональном знании и поведении в обществе. Для других самая объективность природы мнима, потому что возможна лишь в силу отчужденного к ней отношения. Позитивизм (в самом широком смысле) и критическая теория непримиримы, но их языки родственны, ибо речь идет о рациональности в мире вещей, в том числе и социальном мире. Их языки родственны, потому что их праязык – это терминология Маркса и Конта, М. Вебера и Зиммеля, подобно тому как в течение нескольких веков праязык Гоббса, Локка и Юма находил свое продолжение в построениях Руссо и Сен-Симона, Адама Смита и Гегеля.

Наилучшее знание о предмете, разумеется, имеет отношение и к *силе*: власти, влиянию, богатству. Необходимо знать, чтобы мочь, будь то составление финансового отчета, выплавка стали, заключение международного договора или разработка закона о социальном страховании. Богатство, власть и образование тесно связаны друг с другом¹⁰. Неравенство в образовании и неравенство в распределении социальных обязательств, ответственности и престижа связаны не менее тесно.

Всему этому, говорит Бек, в обществе риска приходит конец. Исчезает важнейшая предпосылка: объективное знание отныне недостижимо, во всяком случае, его социальное место – отнюдь не там, куда привыкли помещать знание теоретики модерна, не в области естественных наук, техники и компетентного управления. Его место занимает принципиальная неуверенность, то есть ощущение угрозы, то есть страх. Общий страх перед общей угрозой делает незначимыми все те разделения и различия, на которых держался модерн. Это принципиальная недостаточность знания, которая совершенно по-новому высвечивает отношения человека с так называемыми

⁹ В настоящем издании этот термин переводится как "объективное принуждение". См., напр., с. 267 и далее.

¹⁰ Разумеется, не только так, что образование открывает путь к богатству, но и так, что богатство открывает путь к образованию, – впрочем, тема слишком хорошо исследована, чтобы говорить о ней специально.

мым объективным миром. Дело в том, что нынешние опасности, конечно, сродни опасностям традиционным в том смысле, что подлинная угроза – это угроза целостности тела, здоровью и жизни. Но в отличие от прежних современные опасности неощутимы. Два-три десятка безобидных веществ или веществ, находящихся в пределах допустимой концентрации, вступают в сочетание с сотней-другой веществ, допустимые концентрации или пролонгированное действие которых вообще не изучено, – и появляется нечто без цвета, без вкуса, без запаха, но ужасно вредное, смертоносное, неизлечимое. Итак, органы чувств ненадежны, а экспертиза в лучшем случае недостаточна и неполна. Понятие правильного поведения, а значит, и фундаментальное понятие рациональности отказывает.

Вернемся еще раз к базовым характеристикам модерна. Из сочинений классиков социологии, часто несогласных друг с другом по ключевым вопросам, мы знаем, что личная рациональность, личный расчет и личная ответственность индивида находят себе в обществе все более ограниченное применение. От человека на самом деле чаще всего не требуется выверенное, продуманное, в высшем смысле слова рациональное решение. Он должен положиться на то, что общество в основном устроено разумно, хотя ему самому трудно ухватить своим собственным разумом все "за" и "против" при определении своего поведения. Скорее всего, он ничего не решает, а ведет себя "правильно", т. е. по правилам, в остальном доверяя банкиру, политику, инженеру, подобно тому как он доверяет врачу.

Антропологическая теория социальных институтов, разработанная А. Геленом и развитая Х. Шельски, говорит о том, что социальные институты *разгружают* человека от бремени насущных проблем, он получает уверенность в жизни, а исполнение постоянных потребностей становится для него самоочевидным. Иными словами, у него не только нет нужды сознательно планировать свое поведение для удовлетворения потребностей, но нет и *сознания самих этих потребностей*. Институты не просто защищают его, но и проникают в глубины его сознания и воли. Однако человек не становится их марионеткой. Просто как "смысл жизни" он воспринимает не то, что гарантировано "фоновым исполнением", самоочевидным функционированием институтов, но как раз то, что еще не гарантировано. Поэтому в современном обществе и возникает проблема "постоянной рефлексии", субъективного "я", которое становится все более "спиритуалистичным", отторгает все объективированное, дабы с тем большей энергией погрузиться в глубины своего внутреннего мира. Важно иметь в виду, что эта постоянная рефлексия происходит именно не вопреки, а на фоне институциональной разгрузки. Но рефлексия, завышение требований своего "я" может быть опасной для общества, если его члены не будут принимать во внимание объективные закономерности, *Sachzwang*. А усилена она может быть потому, что в обществе развивается социальная критика, имеющая беспредметный, абстрактно-гуманитарный характер. Ее носители – журналисты, писатели и т. д., те, кого отличает отсутствие "знания из первых рук", иначе говоря, знание поверхностное, полученное в виде "понимания общих принципов", а не в смысле "владения предметом"¹¹.

Эта ситуация меняется в обществе риска. Ведь речь уже идет "не об "опыте из вторых рук", а о "невозможности получения опыта из вторых рук"¹². В наш мир получило доступ невидимое, неощутимое и, в сущности, непознаваемое. Так о какой рациональности в прежнем смысле может идти речь? Что еще может диктовать нам "вещь", на какое "фоновое исполнение" можно еще надеяться? "Объективных при-

¹¹ См. об этом подробнее: ФРГ глазами западногерманских социологов. М.: Наука, 1989. С. 145–196. Следует иметь в виду, что не только Бек, но и цитируемые ниже Луман и Гидденс многим обязаны в постановке проблем немецкой философской антропологии, прежде всего А. Гелену.

¹² Наст. изд. С. 88.

нуждений уже нет – разве что мы сами позволяем им властвовать"¹³. Прежде можно было сказать, что об объективном положении дел судит наука. Теперь мы знаем, что она соучаствует в производстве рисков и что признание рискованности тех или иных научно-технических новаций происходит не в силу внутреннего научного процесса, приводящего ко все более полному постижению истины (в том числе и истины, касающейся побочных последствий научно-технического прогресса), но благодаря социальному давлению.

Правильнее оценить подход Бека мы сможем, если сравним его с некоторыми другими влиятельными концепциями. Так, Никлас Луман в "Социологии риска" предложил заменить схему "риск / надежность" схемой "риск / опасность". Схема "риск / надежность", говорит Луман, не вполне удовлетворительна. Нельзя однозначно определить понятие надежности, подобно тому как в схеме "болезнь / здоровье" невозможно однозначно определить понятие здоровья. Понятие надежности "функционирует как понятие рефлексии. Или же как понятие-отдушина для социальных требований, которые, в зависимости от меняющегося уровня притязаний, просачиваются в калькуляцию риска. Таким образом, в результате возникает пара [понятий] "риск / надежность", которая в принципе делает возможной калькуляцию *всех* решений с точки зрения их рискованности. Следовательно, эта форма имеет ту бесспорную заслугу, что универсализует понятие риска"¹⁴. Но такова, говорит Луман, схема наблюдения *первого порядка*, когда речь идет о наблюдении фактов, о спорах по поводу фактов, об информации, которую хотят получить. Есть, однако, и наблюдение второго порядка, наблюдение наблюдений. Разные наблюдатели, наблюдая одно и то же, получают разную информацию. Наблюдатель второго порядка видит, что они по-разному различают риск и надежность. Он исследует социальные условия, при которых та или иная ситуация считается рискованной или надежной. Получается, что риск – это не угроза как таковая, но то, что *считается* рискованным. "Чтобы удовлетворить обоим уровням наблюдения, мы намерены придать понятию риска иную форму с помощью различения *риска* и *опасности*. Различение предполагает... что существует неуверенность [Unsicherheit] относительно будущего ущерба. Здесь есть две возможности. Либо возможный ущерб рассматривается как следствие решения, т. е. вменяется решению. Тогда мы говорим о риске, именно о риске решения. Либо же считается, что причины такого ущерба находятся вовне, т. е. вменяются окружающему миру. Тогда мы говорим об опасности"¹⁵. Отчасти отвечая на эти рассуждения (хотя и не вступая в прямую полемику с Луманом), Энтони Гидденс в одной из самых значительных своих книг истекшего десятилетия "Модерн и личная идентичность"¹⁶ пишет о том, что "различие между риском, на который идут добровольно, и риском, которому индивид подвергается помимо своей воли, зачастую расплывчато..."¹⁷. Для Гидденса прежде всего важно "не то, что повседневная жизнь стала более рискованной, чем раньше", но то, "что в условиях современности как для обывателей, так и для экспертов-специалистов в какой-либо области мыслить в понятиях риска и оценки риска стало более или менее постоянным занятием, отчасти даже незаметным"¹⁸. Беда в том, что области, в которых отдельный человек уверенно чувствует себя экспертом, всё сужаются, потому что требуется все более узкая специализация, без которой не вынести квалифицированного суждения. Но невозможно жить, дове-

¹³ Наст. изд. С. 345.

¹⁴ Luhmann N. Op. cit. Цитируется по русскому переводу: Луман Н. Понятие риска / Пер. А.Ф. Филиппова // THESIS. 1994. № 5. С. 149.

¹⁵ Там же. С. 150.

¹⁶ См.: Giddens A. Modernity and Self-Identity. Cambridge: Polity Press, 1991.

¹⁷ Цит. по: Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность / Пер. С.П. Баньковской // THESIS. 1994. № 5. С. 119.

¹⁸ Там же.

рясь только личной экспертизе. Гидденс говорит о "защитном коконе доверия", которым мы укутаны в повседневной жизни. Это доверие к надежно функционирующим "абстрактным системам" (например, денежной системе или системе институционализированной экспертизы), без которых немислимо наше самосохранение, "онтологическая безопасность".

Казалось бы, Бек предлагает более простую концепцию, сосредотачивая свое внимание на риске как опасности и недостоверности экспертного знания как в принципе неразрешимой проблеме. Однако эта простота обманчива. Посмотрим на проблему, как рисует ее Бек, – не с точки зрения "отраслевой" социологии (риск – одна из проблем, социология риска – одна из отраслей социологии), но с точки зрения общетеоретической. И так, в обществе риска, согласно Беку, не столь важны различия между людьми в зависимости от дохода, образования, местожительства. Мало того, с точки зрения "нового индивидуализма" не так важны даже различия между полами в их традиционном смысле¹⁹. Мы видим картину общества, образованного множеством индивидов, включенных в рыночные отношения и обуреваемых страхом и неуверенностью. Тем самым мы совершенно неожиданно оказываемся перед лицом основной проблематики социологии, некогда вполне справедливо названной Толкотом Парсонсом "Гоббсовой проблемой". Гоббсова проблема – это вопрос о возможности социального порядка при взаимодействии множества изолированных своекорыстных индивидов. Описывая возникновение и последующее состояние общества не столько как историческую, сколько как логическую проблему, философы нового времени (и прежде всего именно Гоббс) исходили из понятия индивида как такового. Не богатые и бедные, не дворяне, клир и крестьянство, не рабочие и капиталисты, не мужчины и женщины, не народ как социальное целое, но *индивиды*, каждый человек отдельно, заключали между собой *общественный договор*. Что же было основой их солидарности? Страх, говорит Гоббс, страх за свою жизнь. Не война как непрерывная битва, но постоянная готовность к войне – вот что такое, по Гоббсу, *bellum omnium contra omnes*. Но сам по себе страх как источник решения о мире долго не удерживает людей вместе. Даже если однажды они примут решение не убивать друг друга, возникший было порядок немедленно рухнет, потому что когда настанет мир, то исчезнет страх и ничто их не удержит от новой готовности воевать.

Есть два принципиальных решения Гоббсовой проблемы, которые интересны в данной связи (на самом деле их, конечно, гораздо больше). Одно предложил сам Гоббс, другое наиболее отчетливо сформулировал Парсонс, резюмируя итоги классической социологии. Гоббс предлагает *политическое* решение. Страх должен быть перенесен внутрь конструкции государства; только источником его должна быть не готовность убивать друг друга, а высшая, суверенная власть, которая может покарать любого преступника. Суверенная власть учреждается самими людьми, заключающими общественный договор, но затем она становится независимой от их волеизъявления и гарантирует мир внутри государства. А это позволяет заниматься своими делами: мирным путем преследовать выгоду, вести частную жизнь, исповедовать любые мнения, поскольку они безопасны для общественного мира.

Другое решение предлагает, как считает Парсонс, классическая социология. Есть нормы, социальное возникновение которых нам не всегда известно. Мы их застаем готовыми, так, как мы застаем готовым язык, на котором говорим. Мы их не

¹⁹ "Говоря упрощенно, место сословий занимают уже не социальные классы, а место социальных классов – не стабильные рамки семейных отношений. *Мужчина и женщина по отдельности становятся жизненно важной единицей воспроизводства социальных отношений*. Иными словами, индивиды внутри и вне семьи становятся основными действующими лицами в обеспечении своего определяемого рынком существования и связанного с этим планирования и организации собственной биографии" (Наст. изд. С. 109).

создаем, но им подчиняемся. Следование нормам – это не подчинение начальнику, это не есть нечто такое, что можно обойти так, как обходят яму на дороге. Норма – это самоочевидность ограничений при выборе средств для достижения корыстных целей. Нормы общи взаимодействующим, только потому взаимодействие вообще возможно. Действовать в обществе – значит следовать нормам. Но при всем том на заднем плане общества, солидарного на основе общих норм, маячит политическая система, располагающая особым средством: легитимным физическим насилием, так что если готовности следовать нормам окажется недостаточно, она обеспечит выполнение того, что должно быть сделано силовым образом.

К какой же из двух перспектив ближе Бек? Кажется, что к первой, т. е., собственно, не к социологической, а к *протосоциологической*. Там, где другие социологи выстраивают хитроумные (и часто очень сильные, эвристичные) схемы, он идет прямо к непреложному факту: общность угрозы, неуверенности и страха есть основной социальный факт общества риска. Однако в отличие от Гоббсовой проблемы эти угрозы для людей хотя и исходят, конечно, от людей же, их деятельности, их техники и индустрии, но, во-первых, не носят конкретного, направленного характера (это обобщенные угрозы) и, во-вторых, это состояние страха и неопределенности образуется, так сказать, поверх общества, его институтов – и его норм. Таким образом, вторая, собственно социологическая перспектива, никуда не исчезает, но только обе перспективы, которые мы можем также назвать перспективой политического решения (или политической перспективой) и перспективой нормативного базиса солидарности (или нормативной перспективой), взаимно определяют и потенцируют друг друга.

Как потенцируется политическая перспектива? Через размывание границ политики. Старая либеральная схема, восходящая все к тому же Гоббсу, предполагала невмешательство политических институтов в сферу частной жизни. Она давно уже уступила место социальному государству, принимающему на себя обязательства и дающему гарантии гражданам как раз в той сфере, которая изначально выгораживалась как область свободы от государства и политического решения. Однако теперь и государственные институты не могут быть вполне удовлетворительны. Государство уже не является областью наилучшего объективного знания, а современные риски не знают государственных границ. Общность затронутых рисками, солидарность страха и неуверенности шире, чем общность государственного гражданства. А это меняет облик политики: границы политической системы размываются, новые социальные движения приобретают отчетливо политический характер, проблематика политического решения перестает быть прерогативой государства.

Нормативная перспектива тоже потенцируется. Ибо существует широкий спектр притязаний, помимо желания сохранить свою жизнь и нерушимость тела. Эти притязания носят нормативный характер, иначе говоря, это притязания, порожденные не субъективным произволом постоянной рефлексии, но собственным нормативным базисом современного общества. Бек демонстрирует это, в частности, на примере конституционно закрепленных *основных прав* граждан. "Основные права являются в этом смысле главными звеньями децентрализации политики, причем действуют как долговременные усилители. Они предоставляют многообразные возможности толкования, а в измененных исторических ситуациях – новые отправные точки для опровержения ныне действующих, ограничительно-избирательных интерпретаций... Основные права с универсалистским притязанием на значимость... образуют, стало быть, шарниры политического развития..."²⁰.

Однако если внимательнее присмотреться к аргументации Бека, здесь можно заметить еще одну важную линию. Мы видим, что речь постоянно идет о политике.

²⁰ Наст. изд. С. 294, 295.

Мало того, речь идет о *политическом*²¹. Это прилагательное субстантивировал знаменитый немецкий юрист и политический философ Карл Шмитт²². У Шмитта речь шла о политике как относительно автономной сфере, где принимаются решения, связанные с экзистенциальным противостоянием врагов. Относительная автономность политики, по Шмитту, состоит в том, что у нее нет своего собственного содержания, своей собственной субстанции, но когда какое-либо разделение на группы приобретает вид различения друзей и врагов, это разделение, это группирование становится политическим. Это ключевое, главенствующее противостояние, потому что касается жизни и смерти, а политическим сувереном является тот, кто полномочен вводить чрезвычайное положение, объявлять войну и посылать на смерть. Относительность автономии политики состоит в том, что она, правда, не вмешивается в неполитические сферы, но только суверенное политическое решение определяет, *что* является политическим, а *что* – неполитическим. Политическое не тождественно государственному. Неполитическое предполагает в наше время государство, но государство предполагает политическое, потому что с возникновением социальных движений, политических партий, борьбы классов и прочего обнаружили новые носители политического. Вместе с тем только государство, его суверенитет, его мощная машина, говорит Шмитт, по-своему интерпретируя Гоббса, может обеспечить внутренний мир и безопасность, предложив своим гражданам защиту в обмен на повиновение.

Бек отчетливо понимает, *что именно* он формулирует, постулируя отсутствие объективных принуждений и констатируя перемещение части политических компетенций в область субполитики. Ведь нормы и ценности *интерпретируются* (см. выше), научные результаты как таковые неавторитетны и необъективны и, значит, тоже *интерпретируются*. Интерпретация может происходить по правилам дискурса, но в конце концов от политики ждут *решения*, политикой занимаются, чтобы было *решение*, а не только бесконечное обсуждение и откладывание на потом. Но если устранена авторитетная инстанция знания, то в конечном счете источником того или иного решения оказывается... *само решение*, какими бы аргументами оно ни обставлялось. Ситуация, в которой сталкиваются политические силы, в конечном счете действующие *децизионистски*, т. е. на основе решения, очень опасна. И недаром на последних страницах "Общества риска" мы находим рассуждения об *охранительной* функции (государственной) политики. Кажется, вопрос, который вслед за Гоббсом формулирует Шмитт, вопрос "кто будет интерпретировать" решается здесь, в конечном счете в пользу политики, а не субполитики.

И все-таки вопрос о продуктивном разделении труда между политикой и субполитикой остается открытым в "Обществе риска". В "Изобретении политического" Бек уже на первых страницах совершенно недвусмысленно констатирует следующее: "Наша теория, ее аналитическая сердцевина, совершенно аморально и безнадежно говорит о том, что рефлексивная модернизация производит фундаментальные потрясения, которые, как антимодерн, *либо* льют воду на мельницу неонационализма и неофашизма (а именно в тех случаях, когда большинство, ввиду исчезновения надежды и безопасности, призывает новую-старую жесткость и хватается за нее), *либо*, в качестве противоположной крайности, могут быть использованы для того, чтобы переформулировать цели и основы западных индустриальных обществ"²³. Бек говорит и о том, что политика в старом понимании, политика суверенных государств

²¹ Назвав одну из своих книг "Die Erfindung des Politischen" ("Изобретение политического"), Бек подчеркнул то значение, которое для него имеет это понятие.

²² См. в русском переводе: Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. См. также: Шмитт К. Политическая теология. М.: Канон-Пресс-Ц, 2000.

²³ Beck U. Die Erfindung des Politischen. Op. cit. S. 15 f.

устарела, что требуется изменение политики, изменение правил политики, изменение политических правил *политикой*.

Это возвращает нас к важнейшей идее "Общества риска". Риски, хотя и распределены неравномерно, не знают государственных границ. Общность страха на основе риска – это новая общность, общность социальных движений – это новая общность, а политика, которая должна устанавливать границы субполитики (и противостоять опасным экстремистским движениям), – это, скорее всего, межгосударственная политика. На чем же она строится?

Один из ответов Бека на этот вопрос мы находим в его недавней статье, посвященной проблемам глобализации²⁴. Бек говорит здесь, в частности, о противоречии, которое может возникнуть между правами человека и международным правом. Субъекты международного права – государства; носители прав человека – отдельные люди. Но эти права непонятны как таковые, если не обладают универсальной значимостью, то есть их носителями признаются все люди, независимо от любых иных социальных и политических определений. Бек приводит в качестве примера бомбардировки Косова: для западных правительств более важным оказалось защитить права человека, остановить геноцид, говорит он, чем соблюдать международное право. Существует два образа мирового общества: либо его рассматривают как лоскутное одеяло, скроенное из национальных государств, либо как *космополитический порядок прав человека*²⁵. Однако права человека – это не только система ценностей, но и *система власти*. "Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что Запад станет в будущем вести демократические крестовые походы также и для того, чтобы обновить свою самолегитимацию"²⁶. И как раз потому, что права человека признаны по всему миру, а интервенции такого рода будут считаться бескорыстными, мало кто заметит, что они тесно связаны "со старомодными целями империалистической мировой политики..."²⁷. А поскольку "почти в каждом государстве есть меньшинства, с которыми оно обращается не должным образом", то возможность такой милитаристской политики в области прав человека "уже потрясает самые основания осуществления власти в мировой политике"²⁸.

Что же предлагает Бек? По существу, то же самое, что применительно к государственной политике он предлагал в "Обществе риска". Задача политического действия в современном мире, говорит он, состоит в том, чтобы "учредить и испытать... транснациональные форумы и формы регулируемого, то есть признанного ненасильственного разрешения конфликтов между взаимоисключающими и часто взаимно враждебными национальным и космополитическим движениями"²⁹. Новым политическим субъектом должны были бы стать "движения и партии граждан мира"³⁰.

Эта милая идея внушает все-таки некоторые сомнения тем, кто внимательно читал самого Бека. Даже в цитированной статье он говорит об аффективных "сообществах риска"³¹, основанных на различных, часто противоположных ценностях. В "Обществе риска" он недвусмысленно показывает, что сами по себе социальные движения являются лишь субполитическими и нуждаются в ограничении со стороны государства, а в "Изобретении политического" – что они несут потенциал угрозы и

²⁴ Beck U. The cosmopolitan perspective: sociology of the second age of modernity// The British Journal of Sociology. Special issue: Sociology Facing the Next Millennium / Ed. by John Urry. 2000. Vol. 51. N 1. P. 79–105.

²⁵ См.: Beck U. Op. cit. P. 85.

²⁶ Ibid. P. 86.

²⁷ Ibidem.

²⁸ Ibid. P. 87.

²⁹ Ibid. P. 102.

³⁰ Ibidem.

³¹ См.: Ibidem. P. 95 f.

экстремизма. Бек хорошо читал Карла Шмитта, он знает его предостережение: "Кто полагает ценности, тот отгородился ими от окружающего мира. Безграничная терпимость и нейтральность произвольно меняемых позиций и точек зрения оборачивается своей противоположностью, враждой, как только речь всерьез заходит о конкретном осуществлении и приведении в действие ценностей"³². Самое страшное, по Шмитту, – это *автоматическое* осуществление высших ценностей, пусть даже такой ценностью будет человек, потому что ради них люди бывают готовы совершить худшие деяния.

Так как же быть? Стоит ли уповать на то, что в мировом обществе транснациональные политические движения договорятся, *без того чтобы правила их игры регулировала супервласть*? Можно ли рассчитывать, что сообщество риска – сообщество страха – индустриальных стран Запада воздержится от "демократических крестовых походов"? Трудно сказать, ибо многого можно ожидать от одержимого страхом и приверженного ценностям гуманиста. Но Беку мы должны быть бесконечно благодарны за его трезвый, подлинно социологический – говоря его собственными словами, "аморальный и безнадежный" – фундаментальный анализ.

Александр

Москва, июнь 2000

Филиппов

³² Schmitt C. Die Tyrannei der Werte // Schmitt C., Jünger E., Schelz S. Die Tyrannei der Werte. Hamburg: Lutherisches Verlagshaus, 1979. S. 35.

**Ульрих Бек.
Список публикаций.**

Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus. Antworten auf Globalisierung. Edition Zweite Moderne. 1997. 270 Seiten. DM 26,- (ISBN 3-518-40944-1).
Die Erfindung des Politischen. Zu einer Theorie reflexiver Modernisierung. es 1780. 1993. 304 Seiten. DM 20,- (ISBN 3-518-11780-7).
Politik in der Risikogesellschaft. Essays und Analysen. Mit Beiträgen von Oskar Lafontaine, Thomas Schmid, Claus Offe, Robert Jungk, Joschka Fischer, Erhard Eppler u.a.
st 1831. 1991. 435 Seiten. DM 20,- (ISBN 3-518-38331-0).
Gegengifte. Die organisierte Unverantwortlichkeit. es 1468. 1988. 324 Seiten. DM 18,- (ISBN 3-518-11468-9).
Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. es 1365/3326. 1986. 396 Seiten.
DM 24,80 (ISBN 3-518-11365-8/3-518-13326-8).

Einzelherausgeber:

Die Zukunft von Arbeit und Demokratie. Edition Zweite Moderne. 1998. 250 Seiten. DM 28,- (ISBN 3-518-40967-0).
Politik der Globalisierung. Edition Zweite Moderne. 1998. 424 Seiten. DM 34,- (ISBN 3-518-40915-8).
Perspektiven der Weltgesellschaft. Positionen – Konflikte - Paradoxien Edition Zweite Moderne. 1998. 436 Seiten. DM 34,- (ISBN 3-518-40916-6).
Kinder der Freiheit. Edition Zweite Moderne. 1997. 360 Seiten. DM 30,- (ISBN 3-518-40863-1).

Mitautor/Mitherausgeber:

Elisabeth Beck-Gernsheim
Schwarze gibt es in allen Hautfarben. Im Dschungel der ethnischen Kategorien. Edition Zweite Moderne. 1999. Hg. Ulrich Beck. 340 Seiten. DM 34,- (ISBN 3-518-41074-1).
Michael Zürn
Regieren jenseits des Nationalstaates. Globalisierung und Denationalisierung als Chance. Edition Zweite Moderne. 1999. Hg. Ulrich Beck. 436 Seiten. DM 34,- (ISBN 3-518-41018-0).
Anthony Giddens
Der dritte Weg. Die Erneuerung der sozialen Demokratie. Edition Zweite Moderne. 1999. Hg. Ulrich Beck. 192 Seiten. DM 29,80 (ISBN 3-518-41044-X).
Zygmunt Baumann
Die Neue Öffentlichkeit. Edition Zweite Moderne. 1999. Hg. Ulrich Beck. 200 Seiten.
DM 29,80 (ISBN 3-518-41043-1).
André Gorz
Arbeit zwischen Elend und Utopie. Edition Zweite Moderne. 1999. Hg. Ulrich Beck.

- 200 Seiten. DM 34,- (ISBN 3-518-41017-2).
 Martin Albrow
 Abschied vom Nationalstaat. Edition Zweite Moderne. 1997. Hg. Ulrich Beck. 336
 Seiten. DM 30,- (ISBN 3-518-40966-2).
 Ulrich Beck/Anthony Giddens/Scott Lash
 Reflexive Modernisierung. Eine Kontroverse. es 1705. 1996. 364 Seiten. DM 24,80
 (ISBN 3-518-11705-X).
 Ulrich Beck/Elisabeth Beck-Gernsheim (Hg.)
 Riskante Freiheiten. Individualisierung in modernen Gesellschaften. es 1816. 480
 Seiten.
 DM 29,80 (ISBN 3-518-11816-1).
 Ulrich Beck/Elisabeth Beck-Gernsheim
 Das ganz normale Chaos der Liebe. st 1725. 1990. 301 Seiten. DM 17,80
 (ISBN 3-518-38225-X).
 Ulrich Beck/Wolfgang Bonß (Hg.)
 Weder Sozialtechnologie noch Aufklärung? Analysen zur Verwendung
 sozialwissenschaftlichen Wissens. stw 715. 1989. 495 Seiten. DM 28,-
 (ISBN 3-518-28315-4).

**Ульрих Бек.
Список публикаций.**

Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus. Antworten auf Globalisierung. Edition Zweite Moderne. 1997. 270 Seiten. DM 26,- (ISBN 3-518-40944-1).
Die Erfindung des Politischen. Zu einer Theorie reflexiver Modernisierung. es 1780. 1993. 304 Seiten. DM 20,- (ISBN 3-518-11780-7).
Politik in der Risikogesellschaft. Essays und Analysen. Mit Beiträgen von Oskar Lafontaine, Thomas Schmid, Claus Offe, Robert Jungk, Joschka Fischer, Erhard Eppler u.a.
st 1831. 1991. 435 Seiten. DM 20,- (ISBN 3-518-38331-0).
Gegengifte. Die organisierte Unverantwortlichkeit. es 1468. 1988. 324 Seiten. DM 18,- (ISBN 3-518-11468-9).
Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. es 1365/3326. 1986. 396 Seiten. DM 24,80 (ISBN 3-518-11365-8/3-518-13326-8).

Einzelherausgeber:

Die Zukunft von Arbeit und Demokratie. Edition Zweite Moderne. 1998. 250 Seiten. DM 28,- (ISBN 3-518-40967-0).
Politik der Globalisierung. Edition Zweite Moderne. 1998. 424 Seiten. DM 34,- (ISBN 3-518-40915-8).
Perspektiven der Weltgesellschaft. Positionen – Konflikte - Paradoxien Edition Zweite Moderne. 1998. 436 Seiten. DM 34,- (ISBN 3-518-40916-6).
Kinder der Freiheit. Edition Zweite Moderne. 1997. 360 Seiten. DM 30,- (ISBN 3-518-40863-1).

Mitautor/Mitherausgeber:

Elisabeth Beck-Gernsheim
Schwarze gibt es in allen Hautfarben. Im Dschungel der ethnischen Kategorien. Edition Zweite Moderne. 1999. Hg. Ulrich Beck. 340 Seiten. DM 34,- (ISBN 3-518-41074-1).
Michael Zürn
Regieren jenseits des Nationalstaates. Globalisierung und Denationalisierung als Chance. Edition Zweite Moderne. 1999. Hg. Ulrich Beck. 436 Seiten. DM 34,- (ISBN 3-518-41018-0).
Anthony Giddens
Der dritte Weg. Die Erneuerung der sozialen Demokratie. Edition Zweite Moderne. 1999. Hg. Ulrich Beck. 192 Seiten. DM 29,80 (ISBN 3-518-41044-X).
Zygmunt Baumann
Die Neue Öffentlichkeit. Edition Zweite Moderne. 1999. Hg. Ulrich Beck. 200 Seiten. DM 29,80 (ISBN 3-518-41043-1).
André Gorz
Arbeit zwischen Elend und Utopie. Edition Zweite Moderne. 1999. Hg. Ulrich Beck.

- 200 Seiten. DM 34,- (ISBN 3-518-41017-2).
 Martin Albrow
 Abschied vom Nationalstaat. Edition Zweite Moderne. 1997. Hg. Ulrich Beck. 336
 Seiten. DM 30,- (ISBN 3-518-40966-2).
 Ulrich Beck/Anthony Giddens/Scott Lash
 Reflexive Modernisierung. Eine Kontroverse. es 1705. 1996. 364 Seiten. DM 24,80
 (ISBN 3-518-11705-X).
 Ulrich Beck/Elisabeth Beck-Gernsheim (Hg.)
 Riskante Freiheiten. Individualisierung in modernen Gesellschaften. es 1816. 480
 Seiten.
 DM 29,80 (ISBN 3-518-11816-1).
 Ulrich Beck/Elisabeth Beck-Gernsheim
 Das ganz normale Chaos der Liebe. st 1725. 1990. 301 Seiten. DM 17,80
 (ISBN 3-518-38225-X).
 Ulrich Beck/Wolfgang Bonß (Hg.)
 Weder Sozialtechnologie noch Aufklärung? Analysen zur Verwendung
 sozialwissenschaftlichen Wissens. stw 715. 1989. 495 Seiten. DM 28,-
 (ISBN 3-518-28315-4).